

Источник: Нина Берберова, “Чайковский”.
Изд-во: “Лимбус Пресс”, Санкт-Петербург, 1997.
OCR: Александр Белоусенко (belousenko@yahoo.com).
Правка: Давид Титиевский (davidtit\$land.ru), 26 июня 2004.
Библиотека Александра Белоусенко — <http://belousenkolib.narod.ru>

НИНА БЕРБЕРОВА

ЧАЙКОВСКИЙ

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о "скандальных" сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло пятьдесят лет со времени написания этой книги, и, переиздавая ее, я хочу ответить на вопрос, часто задаваемый мне: почему я написала ее, почему биографию и почему именно Чайковского?

1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы: отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прикрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приемы (прошлого века), как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описания природы, погоды — дурной для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасной, для подчеркивания радостной встречи, или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы, из статьи, написанной героем через 12 лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор ими пользуются не только авторы «для широкой публики», но даже ученые историки. Недавно автор одного труда по русской истории XX века в Ленинграде написал книгу о февральской революции и 1917 г., где признается, что «разрешал себе реконструировать прошлое на основе документальных материалов и воспоминаний» (чьих?). К этому при-

5

бавлено примечание: «Редакция всех диалогов в книге принадлежит автору, поэтому он просит не рассматривать их как цитаты из исторических документов или мемуаров. В ряде случаев автор располагал только упоминанием о встрече тех или иных лиц и самим фактом наличия беседы между ними. Тогда диалог полностью относится к художественной форме передачи исторического материала». На стр. 31 даже дается пример: «Родзянко пожевал губами. По Думе стало у нас в блоке большинство, — рассуждал про себя Родзянко».

Законы были даны, и в Европе, и в США началась мода на совершенно новые (не романсированные, но серьезные) биографии. Никого не забыли, ни древних, ни новых, ни поэтов, ни политиков, ни художников, ни знаменитых любовников. Биографии раскупались быстро, и большинство имело успех. Я чувствовала, что хочу поработать в этой области. Выбор был найден очень скоро, в начале 1930-х гг., в издательстве «Академия», сначала в Ленинграде, а потом в Москве вышло несколько томов архивных материалов о П. И. Чайковском: переписка его с Н. Ф. фон Мекк, переписка с близкими, неизданный дневник (еще в 1923 г.), воспоминания современников. Все это было снабжено примечаниями, имевшими прямое отношение не столько к его музыке, сколько к нему самому, к его личности и жизни. Возрождение жанра и обилие документации были двумя основными причинами моего решения.

Третьей причиной, для меня важной, было то, что мой издатель М. С. Каплан (Дом книги, rue de l'Éperon, в Париже) не только сочувствовал моему проекту, но и обещал издать мою книгу и даже платить мне авторские. Кроме того, так как я регулярно помещала (главным образом по воскресеньям) мои рассказы и очерки в ежедневной русской газете «Последние новости», я предвидела, что смогу давать вместо рассказов главы из будущей книги. Это с

6

точки зрения материальной было мне необходимо, без регулярного сотрудничества в газете я не могла свести концы с концами, да жила исключительно литературным трудом.

Но были еще факты, сыгравшие не менее значительную роль в моем решении: поколение людей, знавших Чайковского в своей молодости, рожденное в 1860—70 гг., доживало свой век. Я решила встретиться с ними и говорить с ними — с Рахманиновым, с Глазуновым, с вдовой брата Чайковского, Анатолия Ильича (бывшего губернатора Саратова и члена Государственного совета), с первой Татьяной — Марией Николаевной Климентовой, с внуками фон Мекк. Эти люди приняли меня, говорили со мной. Без их помощи я никогда не могла бы написать своей книги. Среди них был и Владимир Николаевич Аргутинский, который ответил почти на все мои вопросы.

С Аргутинским, снимавшим в 1893 г. комнату у Модеста Ильича, где умер Петр Ильич, я могла говорить о тайне. О той тайне, которую, я твердо была убеждена, настало время раскрыть. Впрочем, она была раскрыта уже в 1923 г., когда Ипполит Ильич опубликовал дневник конца восьмидесятых годов. Он в это время постепенно переводился на большинство европейских языков. На Западе это было время, когда об интимных сторонах человека стали говорить открыто. Отчасти — благодаря Фрейдю, отчасти — благодаря общему повороту литературы к затаенным сторонам человека. Андрогинизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно и можно лечить, хотя бы и насильно, и не как преступление, за которое необходимо карать, а как опыт, через который проходит около 20% людей, из которых три четверти позже просто забывают его или вырастают из него. Я только позже поняла, почему пять или шесть ближайших друзей моего отца и моей матери мне казались, в раннем детстве, чем-то непохожими на

7

остальных их знакомых — они никогда не были женаты, у них не было детей, и их почему-то шутя дразнили, что они «живут с племянниками», но эти племянники никогда не приглашались к нам в гости!

Русские читатели моей книги не могли оставаться в неведении. Я поняла, что мне предстоит задача коснуться проблемы, до которой до сих пор почти никто не касался. Я не могла притвориться, что Дневника, изданного Ипполитом Ильичом, никогда не было, и не только не могла, но и не хотела.

В русской эмигрантской газете, где редактором был П. Н. Милюков, цензура касательно любовных вкусов великих людей была довольно строгая, но с первого же напечатанного мной отрывка (раннее детство) читатели, как и сами редакторы газеты, видимо, проявили к книге интерес. Эти ранние главы увидели свет до того, как я стала интервьюировать людей, знавших Чайковского, и они дали им возможность узнать о самом факте моей работы над книгой и, может быть, судить о ее качестве.

Сергей Васильевич Рахманинов в то время был в Париже, куда приезжал давать свой ежегодный концерт. Он жил в отеле «Мажестик» (на авеню Клебер), но не в самом здании гостиницы, а во дворе, в огромном нарядном флигеле, где снимал одну из удобных и просторных квартир отеля, пользуясь всеми благами этой, одной из лучших тогда, гостиницы Парижа.

С высоты своего роста, который, несмотря на его сутулость, был так для него характерен, он смотрел не на меня, а поверх меня. Неподвижное, длинное его лицо и необычайно длинные руки, негромкий, даже несколько монотонный голос были очень характерны для него. Многое он сказал мне тогда, что я тогда же записала с его позволения, но самым ценным был его рассказ о той маске, которую Чайковский как бы носил всю жизнь и которая исчезла с его лица в день его смерти. Всю жизнь он ходил как бы в мягких туфлях, редко поднимая голос, и в его лице

8

всегда должна была быть та приятность и мягкость, о которой помнили все, кто его знал. Не только постоянная мысль, как бы кого не обидеть или не задеть, но и правило: как бы даже не спорить ни о чем, чтобы ни в коем случае не раздражить собеседника. Да, иногда и важный, и холодный с незнакомыми молодыми (особенно с «барышнями»), упорный в беседах с «кучкой»,

но это, по словам Сергея Васильевича, были исключения — уже на следующий день — обычная нежность к Н. А. Римскому, полная гармония при встрече с Бородиным, всегда уважительный тон при встрече с Балакиревым. Стекланный мальчик — как его называла в детстве Фанни, гувернантка в Воткинске, бархатный мальчик — до самого конца.

Глазунов принимал меня сидя у рояля, тучный, тяжелый, медлительный, с сигарой во рту, давно потухшей, но все еще сыпавшей свой пепел между клавишами.. Квартира была темной, с тяжелой мебелью. Он сам открыл мне, дверь и, после часового разговора, сам вывел меня на лестницу. Он ни разу не улыбнулся. Он несколько раз начинал свой рассказ словами: «Мы с Лядовым»... в санях, вечером с ним возвращались (с концерта?)... «Мы с Лядовым» в санях садились друг другу на колени, чтобы ему дать место. «Извозчичьи сани, помните, в Питере были такие узкие...» Да, этому великану они, конечно, были узки, и запахнуть полость было, вероятно, не легко. От Лядова и саней разговор перешел к недостаткам Петра Ильича: у него их не было, сказал Александр Константинович, просто не было в характере. Была, конечно, личная, интимная его проблема, но она никого из нас не беспокоила, у каждого из нас есть тайны, спокойно говорил он мне, пора к этому привыкнуть. (Сам он, как Тургенев, как Джон Рескин, как герой набоковской «Лолиты», любил совсем юных девочек... и женился на матери одной из них.)

9

На крышке рояля стоял стакан с красным вином, и Глазунов несколько раз вставал и отпивал из него. Он признался, что многое за последний год забыл, что он все хотел записать, но не записал, и, вынув окурочек сигары изо рта, поцеловал мне руку на прощание.

К Прасковье Владимировне Чайковской, урожденной Коншиной, когда-то известной московской красавице, роман которой с Антоном Рубинштейном не был тайной в Москве. (А Николай Григорьевич мне не достался, весело сказала она мне, он достался Третьяковой.) Сперва она не поверила, что я та самая, которая пишет биографию Петруши, она думала, что я ее сверстница, и прислала вместо себя кого-то другого. Я, идя к ней, приготовилась к твердому ответу, если она будет требовать убрать некоторые намеки на его ранние отношения с Апухтиным (12-ти и 13-ти лет) и в дальнейшем интимных тем не касаться. Но вышло совсем по-другому: она попросила в будущем издании убрать тот факт, что, когда по ночам Петр Ильич работал — за письменным столом и роялем, — Алеша (слуга) приносил ему перед сном рюмочку коньяку. Ее просьба сводилась к следующему: вы написали, что это случалось каждую ночь, напишите, что это случалось раз в неделю. А то подумают, что он был алкоголиком. Я старалась перевести разговор на другие рельсы и повернуть к интимным темам, но она, к моему удивлению, только и ждала, чтобы об этом поговорить. «Я у него поклонника отбила в Тифлисе, когда он у нас гостил», — весело улыбаясь, сказала она мне. «Это был Вергинский», — ответила я. — «Да, это был Вергинский, и Петя никогда не мог простить мне этого».

На мой вопрос, как реагировало общество, в котором она цвела и блистала, она ответила, улыбаясь лукаво, что никто ничему не удивлялся, все более или менее этим занимались в юности, а девять великих князей были этим известны. (По моему счету их

10

было восемь.) Надо было только «вести себя прилично и не скандалить». Апухтин свои любовные стихи писал, всю жизнь «о ней», не «о нем», он развратил Петра Ильича, будучи в 13 лет любовником Шильдера-Шульдера, классного наставника, бывшего возлюбленного вел. кн. Константина Константиновича, человека женатого) и имевшего семь человек детей, — он был, кстати, директором училища Правоведения и отмечал Петю.

Затем, взглянув на меня как-то особенно значительно, она сказала, что о таком поведении Чайковского у нее есть в сундуке один интересный документ — дневник Петра Ильича, где он пишет об Эдуарде.

Я окаменела. В углу комнаты, где она жила (в русском общежитии в Нейи для одиноких старушек, которым заведовала вдова бывшего виленского губернатора и члена Государственного совета Любимова), стоял большой, видимо, еще русский сундук. Осторожно я наводила ее на содержание дневника. Оказалось, что это та самая тетрадь, которую Ипполит Ильич выпустил в свет в 1923 году, в Петрограде. Прасковья Владимировна не поверила, когда я сказала ей, что этот дневник можно найти в библиотеках, что я его читала. Она думала, что этот дневник был напечатан в одном экземпляре, и она была единственная, которая читала его. Сейчас он переведен на многие (если не все) европейские языки.

Я попросила ее позволение тут же кое-что записать, я продолжала записывать в метро и дома прямо села к столу, И писала до полуночи.

Знакомство наше продолжалось с 1936 до 1947 г. У меня от нее сохранилось 16 писем, она бывала у меня, я изредка навещала ее. Дочь ее, Татьяна Анатольевна, по первому мужу Веневитинова, по второму баронесса Унгерн-Штернберг, была третий раз замужем за англичанином и жила в Лондоне. Прасковья Владимировна одно время гостила у нее. В Париже, уже во время войны, я познакомилась с ее

11

внуком, Веневитиновым, который назывался МирОк. А после войны — с одной из двух внучек, приезжавшей из Лондона и в это время начавшей развод со своим английским мужем. Когда П. В. при мне упрекала ее за это и говорила, что «этот муж умный, интересный, ученый человек», она отвечала: «Бабушка, мне с ним скучно».

Вот несколько отрывков из писем П. В. ко мне:

11 мая 1936. 61 Goldhurst Terrace. London N. III. 6.

Дорогая Нина Николаевна,

Вы не можете себе представить, какое удовольствие Вы мне доставили Вашим драгоценным для меня подарком. Я наслаждаюсь, читая живо, ярко и трогательно описанное Вами детство П. И. К сожалению, я не могу сразу без остановки... Вы мне говорили, что Извольская переводит Вашу книгу — на каком языке? На французском или английском? Если Вы еще ни с кем не сговорились насчет последнего, то моя дочь предлагает Вам свои услуги, она с удовольствием это сделает: ей принесли дневник П. И. с просьбой его перевести, но она находит, что Ваша книга интереснее будет у публики, — нахожу и я. Половина его дневника может быть интересна для самых его близких, как напр. для меня, т. к. я сама присутствовала в этой жизни... Он не хотел, чтобы он был напечатан.

Я не знала, что Вы искали сведения о П. И. от Глазунова, Рахманинова и Володи Аргутинского, и Волконского. В Рахманинове он первый увидел будущую знаменитость... Глазунова он любил, и многое из его сочинений ему нравилось. Волконского он не любил, а Володя Аргут. был при его жизни сначала прелестным мальчиком, а потом симпатичным юношей, но когда он узнал, что у П. И. холера, он убежал и не показывался до его похорон.

Ваша статья о Глазунове мне очень понравилась, но Вы идеализировали его наружность и его дар сло-

12

ва. Быть может, он на старости лет изменился, но когда я его видела в Петербурге — и довольно часто — он наводил на меня тоску: он изредка молчал, смотрел бессмысленно куда-то вдаль и всегда был пьян. Я не знала, что он женат, — когда он женился и на ком? И видели ли Вы ее?

7 февраля 1937. Лондон.

Очень рада была получить Ваше фото. В шляпе Вы больше похожи, но на обеих хуже, чем Вы есть.

Когда я читала в «Последних новостях» Ваши фельетоны, то воображала Вас сухой, худой старушонкой, с серо-желтым лицом и большим крепковатым носом, с тонкими бледными губами, волосами *sel et poivre* [соль и перец], в нанковой серой юбке и такой же кофте. И вдруг является молодая, красивая, яркая и донельзя симпатичная женщина, с розами в руках — настоящая весна! И я этой женщине простила все зубы, которые имела против старушонки.

9 мая 1947. 41 rue de Plaisance /La Garenne — (Seine).

Дорогая Нина Николаевна,

Прочла Вашу статью в «Русской мысли», восторгалась, плакала, и так захотелось Вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я Вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь жизнь у меня одно страданье, и я оживаю только когда вижу своих друзей. Я нигде не бываю и прошу Вас, дорогая, навесить меня, чем меня обрадуете.

Где вы? В путешествии или дома? Когда получите мое письмо, протелефонируйте мне и мы сговоримся о нашем свидании. Я иногда приезжаю в Париж к доктору и тогда ночую у моей внучки. Я хочу быть с Вами вдвоем, чтобы никто нам не мешал.

Крепко вас обнимаю. Сердечно Ваша.

П. Чайковская

13

Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков умер в Париже в 1941 г. Я была у него в 1936 г. два раза. Он жил в своей квартире, в районе Елисейских полей, которую снимал еще до войны 1914 г. Поблизости был не только дворец президента, но и центр больших антикварных магазинов. Он до конца своей жизни занимался «русским антиквариатом». Он был невысок, но все еще красив, и в общении с людьми было что-то особенное, старомодное, но никогда не смешное. Он сказал мне, что теперь он «старьевщик», а когда-то был коллекционером.

Коридор, по которому он провел меня в комнату, был завален старыми холстами, рамами и подрамниками и просто хламом, где, вероятно, никаких сокровищ нельзя было бы найти. Аргутинскому я обязана детальным описанием последних дней холеры; он был четвертым, кто на простыне опустил Чайковского в ванну, полную воды комнатной температуры, накануне смерти, — не для того, чтобы вылечить его, а для того, чтобы облегчить его страдания. Он тогда снимал комнату в квартире Модеста на Морской (теперь Герцена), где жил и Боб Давыдов и где была комната Чайковского, когда он приезжал в Петербург. Четверо, опустившие тело в ванну, были Модест Ильич, Аргутинский, слуга Никифор и бывший лакей Чайковского, Алеша, вызванный срочно из Клина, теперь женатый и отец семейства. Все четверо уже знали, что состояние Петра Ильича безнадежно.

С Аргутинским я говорила два раза. Александр Николаевич Бенуа дал мне мысль пойти к нему и попросил его меня принять. Он сказал мне, как бы случайно: Арго знает, кто был Эдуард. Задайте ему этот вопрос. Но ни в первый, ни во второй раз Владимир Николаевич на этот вопрос мне не ответил. Разговоры с ним навсегда вошли в мою память — о музыке Чайковского мы почти не говорили. Этой темы я, никогда не уважавшая дилетантства и не

14

будучи музыковедом, в своей книге не могла касаться. У Владимира Николаевича оказались две темы: смерть Чайковского, при которой он присутствовал, и Боб Давыдов, племянник Чайковского и его последняя любовь. Он так сам мне и написал, когда я попросила принять меня (письмо было написано по старому правописанию):

«Буду очень рад с Вами встретиться и рассказать Вам то небольшое, что уцелело в моей памяти о Бобе Давыдове».

Но, конечно, и Боб Давыдов был мне в высшей степени интересен.

Во вторую встречу Аргутинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом — Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в «Последних новостях». С. М. был внуком декабриста Поджо и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Аргутинскому, что ужасно жалеет, что «о нашем драгоценном Петре Ильиче» пишет женщина, а не «один из нас»!

Я заговорила с ним о том, что потомство Н. А. Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством, и спросила его о причине такого слуха. Аргутинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов; одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая — за Чайковского. Из этого ничего не вышла. Одна в конце концов вышла за Римского, а другая — за некоего Молласа. Обиженные дамы мстили жестоко: они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные и тайные проблемы. Аргутинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подоз-

15

рений о скрытом самоубийстве: первый — отмена в России **предварительной** цензуры после 1905 г., когда вышли срочным порядком «Гавриилиада» Пушкина (в 1906 г.) и в 1912 г. собрание сочинений Оскара Уайльда (включая «De Profundis»), и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание В. В. Розановым своей книги «Люди лунного света». Второй факт: **полная** отмена цензуры (кроме военной) после Февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей

«изобличенного в мужеложстве и за него осужденного» наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 года.

И предвоенные, и военные годы были расцветом славы Розанова и славы поэта Михаила Кузмина, и многих «разоблачений». Нет ни одного шанса, чтобы такая сенсация, как самоубийство русского композитора мировой известности из страха попасть под статью 995, не попало бы в печать — серьезную или бульварную, русскую или иностранную, и не вызвало бы открытого обсуждения!

Третий факт, о котором напомнил мне Аргутинский, был еще более серьезным: во второй половине 1880-х гг. была открыта бацилла холеры. С этого дня больных холерой перестали насильно увозить в госпитали и закрывать гроб умерших от холеры немедленно после смерти. Было доказано, на трех международных медицинских съездах известными русскими, французскими, английскими и немецкими медиками, что холерная бацилла передается исключительно через испражнения холерных больных, через антисанитарную канализацию (или полное отсутствие ее), через нечистоты, или в тех городах и селах, где питьевая вода проходила в почве, загрязненной фекалиями. («Вестник общественной гигиены», апрель, 1902 г.) После открытия бациллы ни от больного, ни от его мерт-

16

вого тела никто уже не боялся заразиться холерой.

Несмотря на это, а также на свидетельство, официально подписанное лейб-медиком, д-ром Львом Бертенсоном (см. монументальный труд Герберта Вайнштока «Жизнь Чайковского», А. Кпорф, N. Y., 1943), сенсационная версия самоубийства до сих пор остается в умах некоторых, видимо, недостаточно осведомленных людей, живучей. Несколько лет тому назад издательство Оксфордского университета, по слухам, даже собиралось издать книгу о том, как в 1966 г. «одной даме» сказал «один господин», которому сказала «одна дама», которой в 1902 г. сказал на смертном одре ее умирающий муж о том, что Чайковскому была дана пилюля «судьями» (шестью?), бывшими товарищами композитора по училищу Правоведения, посоветовавшими ему покончить с собой, чтобы не позорить «ни себя, ни Россию». Впрочем, пилюли у них с собой не было, и они обещали ее принести Петру Ильичу на следующее утро, в квартиру Модеста Ильича, что ими и было сделано.

Чайковский смиренно подождал до утра, принял пилюлю, имея почти сутки на размышления. Он спокойно мог взять извозчика и поехать не домой, а прямо на Варшавский вокзал, и оттуда в Берлин, протелеграфировав на Морскую, — деньги его, как всегда, лежали в Берлине у музыкального издателя Бесселя. И все это потому, что якобы он недавно, едучи на пароходе из Европы в Одессу, познакомился с одним мальчиком, кажется, тринадцати лет, и гувернер донес отцу, известному барону Стенбок-Турмору (видимо, Стейнбок-Фермору). На самом деле неприятности у Чайковского были года три назад, о чем знали не только в Петербурге и Москве, но и в Тифлисе (Прасковья Владимировна и Анатолий Ильич), когда он плыл по Черному морю и познакомился с сыном проф. Склифосовского (кстати, не 13-ти, а 17-ти лет). Любопытно знать, не слышал ли об этом «романе» что-либо Томас Манн,

17

когда писал свой роман «Смерть в Венеции» (1912)?

Принимая во внимание то обстоятельство, что в училище Правоведения директором был вел. князь Константин Константинович (внук Николая I), который был тех же вкусов, что и композитор, и что одна десятая учеников (по самому скромному счету) также была по эту сторону российского закона, один из судей почти наверное сочувствовал Петру Ильичу.

Принимая во внимание, что Боб Давыдов жил главным образом на средства «дяди Пети», Чайковский легко мог уехать не один, а взять племянника с собой — в Париж, или Ментону, или Кларен.

Принимая во внимание, что 995-я статья царского свода законов приравнивала гомосексуализм к скотоложству, вполне допустимо предположить, что аристократия, верхи интеллигенции, столичное купечество (в обеих столицах) подвергались суду и наказанию только в самых исключительных случаях. Известен один случай с человеком, знакомым довольно многим, преподавателем латыни и греческого, любовником московского губернатора, вел. кн. Сергея Александровича (брата Александра Третьего), которого судили и которому дали три года «изгнания» в Саратов, а затем вернули в Москву. Всем было известно, что богатых и знатных «скандалистов» отсылают на время на Ривьеру, а «мужиков» — в Сибирь, откуда они почти

никогда не возвращаются к себе в деревню, находя жизнь в Сибири «вольготнее», и где им не угрожал вопрос брака.

Великих князей никогда не беспокоили. В октябре 1917 г. часть их уехала и оказалась в Париже, где и прожила до старости. Другая часть их была расстреляна во дворе Петропавловской крепости в 1919 г. В дореволюционной России было, как известно, два суда: один — для богатых и сильных, другой — для бедных и слабых. Исключения, конечно, бывали и даже не так уж редко, но, как общее правило, был обычай: титулованных, царских слуг и министров,

18

членов Государственного совета, купцов-миллионеров, известных актеров и других популярных людей,сылать на время в Европу, если «скандалят». Приведу здесь список великих князей (членов семейства Романовых), которых не судили по 995-й статье:

Сергей Александрович — дядя Николая II,
Николай Михайлович — двоюродный брат Александра III,
Константин Константинович — внук Николая I,
Олег и два его брата — сыновья Конст. Конст.,
Дмитрий Константинович — брат Конст. Конст-ча,
Дмитрий Павлович — двоюродный брат Николая II,
Юсупов Ф. Ф. — женатый на племяннице Николая II.

Из видных людей:

В дирекции Эрмитажа — трое,
В дирекции Императорских театров — двое,
Крупные актеры Императорских театров — трое,
Видный редактор крупного журнала — один.

И последнее: для любящих сенсации напомним, что по закону (до 1917 г.) самоубийц хоронили не «в общей могиле», как недостойных церковного погребения (и Чайковский думал об этом, когда готовился покончить с собой в 1878 г. после неудачной женитьбы), а давали попу в ладонь золотой, пяти- или десятирублевик, и все происходило так, как если бы никакого самоубийства и не было.

Вспоминая теперь это далекое прошлое, я не могу скрыть того чувства благодарности, которое я чувствую к тем, которые так внимательно отнеслись ко мне и так мне помогли. Внук Н. Ф. фон Мекк, Адам Карлович Бенигсен, сын старшей дочери Надежды Филаретовны, несколько раз приглашавший меня к себе и говоривший со мной — не о Чайковском, которого он знать не мог, но о семье фон Мекков, о своем дяде, посадившем фонмекковские миллионы, и о другом, женившемся на племяннице Чайковского,

19

Анне Давыдовой, сестре той Тани, которую П. И. так любил и которая тайно родила незаконного сына от знаменитого в свое время пианиста и профессора консерватории Феликса Блюменфельда и вскоре покончила с собой. Или Мария Николаевна Климентова, сопрано, начавшая свою оперную карьеру в консерватории, как первая Татьяна, когда «Онегина» впервые поставили на консерваторском выпускном экзамене в Москве. Она была впоследствии женой С. А. Муромцева, председателя Первой Государственной Думы, и среди Коншиных и Третьяковых, Морозовых и Щукиных блистала в Москве.

Моя биография П. И. Чайковского вышла в Париже, в «Доме книги» (рю де л'Эперон, 9), в 1937 году. Она была переведена на шведский, чешский, немецкий, финский языки, и в Швеции была бестселлером. На французский я перевела ее сама. Она вышла в 1948 г. в «Эдисон дю Шэн»*. (Там же вышли в 1948—1949 гг. мои переводы «Вечного мужа» Достоевского и одной из первых книг о ГУЛАГе «Путешествие в страну Зе-Ка» Ю. Марголина.) Там же, в «Эдисон дю Шэн», вышла моя книга «Александр Блок и его время», которую я написала прямо по-французски (русского издания никогда не было).

В 1966 г. совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм.

Н. Б.

* Второе издание «Чайковского» по-французски вышло в 1987 г. в издательстве «Actes Sud» во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того

написанное. Оно повторено в голландском издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках.

20

I

Говорили, что дедушка Андрей Михайлович Ассиер был эпилептик. Говорили, что болезнь эту он передал старшему своему сыну, впрочем, умершему в молодых годах. Говорили, что он был человек способный, имел связи и образование, служил по таможенному ведомству и дослужился до «действительного». Происходил он из французских эмигрантов и умер в тридцатых годах, оставив детей от двух браков.

Александра Андреевна, вторая дочь его, была девушка образованная, большеглазая и голосистая. Незадолго перед смертью отца она окончила Училище Женских Сирот, где обучалась риторике, арифметике, географии, литературе и языкам. Литературу в старшем классе читал Плетнев, тот, кому Пушкин посвятил «Онегина». При выпуске и он, и ученицы его плакали. День выпуска из училища был днем слез, волнений и надежд: играли на арфах, пели хором «Прощание» и молитвы, дарили друг другу сувениры...

Когда Илья Петрович Чайковский посватался к девице Ассиер, ему было сорок лет. Он был младшим сыном — двадцатым по счету ребенком — Петра Федоровича Чайковского, городничего Вятской губернии, приписанного к дворянству в самом начале прошлого века. В 1833 году Илья Петрович был уже вдов, с дочерью Зинаидой на руках. Воспитывался он в Горном кадетском корпусе, а затем был зачислен на службу, по департаменту горных и соляных дел, — в чине сперва шихтмейстера, потом берггешворена, гиттенфервальтера, маркшейдера, обергиттенфервальтера и, наконец, обер-бергмейстера. В чинах он, однако, не слишком преуспел и карьеры

21

блестящей не сделал. Ум и способности заменялись в нем добросовестностью и благодушием.

Александра Андреевна ни знатностью, ни богатством прельстить его не могла, он женился на ней по любви. Она была стройна, моложе его почти что двадцатью годами, руки ее были удивительно хороши; она с чувством умела петь модные романсы. Впрочем, к музыке, как и к наукам, Илья Петрович был вполне равнодушен и рано забросил флейту, на которой играл в юности.

Дети пошли с третьего года. Первая девочка умерла еще в Петербурге. В 1837 году Илья Петрович неожиданно получил назначение: начальником Камско-Воткинского завода, на Урале. Определив Зинаиду в институт, он с женой отправился к месту своей службы и там оказался неограниченным властелином огромного, по тем временам, завода, обладателем большого комфортабельного дома, толпы прислуги, собственного войска в виде сотни казаков, маленького «двора» из местного дворянства, служившего на заводе. Стали жить гостеприимно, спокойно, откладывая про черный день; принимали у себя столичную молодежь, приезжавшую на практику, англичан-инженеров, осевших здесь совсем недавно. Семья росла: в 1838 году родился Николай, спустя два года — Петр (25 апреля), за ним — Александра и Ипполит; прибыли из Петербурга в помощь Александре Андреевне старушка-тетушка и племянница — старая девица. Дом наполнился, большой, теплый, уютный дом в Сарапульском уезде, вблизи огромного пруда, окруженный заводскими, казенными строениями; завод был сталелитейным, железоделательным, строились на нем суда, земледельческие орудия и даже — в последние годы — паровозы; отливались сталь, чугун, медь, делались рельсы и цистерны. Кама была в двенадцати верстах.

Дом наполнился детьми, челядью, постоянными гостями, и Александра Андреевна уже не пела

22

романсы, не переписывала стихи о луне и страсти в свой бархатный альбом, — она рожала, кормила, солила огурцы, варила варенье, принимала гостей, держала недалекого мужа под башмаком.

Дом шесть месяцев в году бывал занесен снегом. Дети жили в мезонине. К Николаю приходил приятель его, Веничка, как и он, лет шести, да была еще девочка Лида, сиротка, племянница Ильи Петровича. Петю иногда тоже принимали в игру, бегали по двору, по саду, к широким воротам (в стиле сибирского ампира). Тишина. Снег. Ранние сумерки. Нянюшка Каролина и кормилица сторожат двух младших. Коля и Веничка меряются силами; Петруше попадает от обоих; Лида визжит, бросает в драчунов снежками...

Но довольно шалостей, нянек, веселого визгу на весь дом, — пора старшим учиться. Мать, забрав с собой Николая, собирается в Петербург, за гувернанткой. Путь долог — три недели до столицы. Через два месяца она возвращается. Сперва звенят бубенцы, потом слышно, как копыта бьют снег. К крыльцу заносит возок. И уже все на крыльце: и Илья Петрович, и четырехлетний Петруша, и няньки, и мамки, и добрая тетушка, от которой пахнет мятным пряником, и «сестрица» Настасья Васильевна, несносная и въедливая, от которой ничем не пахнет, и два пса, и кот, и слуги, — словом, толпа народу встречает на вечернем, синем холоду Александру Андреевну, Колинку и тоненькую фигурку никому не известной особы.

— Это Фанни, — говорит Александра Андреевна, и Илья Петрович, до страсти любящий всевозможные умильные жесты, навертывание благодатных слез на глаза, сладко дрожащий голос, целует Фанни в лоб и говорит ей что-то прочувствованное о том, что он уже любит ее, как дочь, что она «вернулась домой», а не заехала куда-то к волкам. И Фанни благодарит его, потому что она молода, одинока,

23

родилась за тысячи верст отсюда, подле Бельфора, и никак не может произнести ни слова «Воткинск», ни слова «Чайковские».

Николай, Веничка и Лида устроили «класс». Но не на них с первого же дня обратилось ее внимание. Она заметила тихого, немного странного и не очень опрятного мальчика, которому еще рано было учиться, но который просился к ней и не хотел отстать от старших. Александра Андреевна впервые заметила, что Петя, которому четыре года, не только шалит, любит сласти и боится темноты, но, ласкаясь к ней и плача, чего-то требует, чего-то хочет. Не вредно ли это? Но Фанни вступилась, французской грамоте и молитвам она стала учить его вместе с остальными. Для русского языка к детям ходил господин Блинов.

Петя был тихоней, способным тихоней, и часто внушал Фанни некоторый страх своей тихостью, сообразительностью и каким-то очарованием, которое было в нем, несмотря на его нелюбовь к порядку, губке и мылу, на его вихры. Фанни полюбила его сама и научила Илью Петровича и Александру Андреевну любить его. Внезапно и тетушка заметила в нем что-то особенное — все чаще стала она открывать для него свой сундук со звоном, и оттуда в его маленькие, всегда испачканные руки переходили мятные бабы и всадники; даже «сестрица», которая уже тогда отличалась заметной придурью, угадала в нем что-то большее, чем в других детях.

Утром шли уроки. Все четверо очень скоро постигли первую премудрость французского языка. Во время рекреаций устраивались игры — и Фанни была тут же, и участвовала во всем, следя за младшим и втайне любясь им, его внезапными выдумками, постепенному подчинению остальных. Под праздник, в сумерках, Фанни собирала вокруг себя детей на большом диване, читала им вслух или заставляла их самих по очереди придумывать и рассказывать всякие истории.

24

Пьер фантазировал в стихах и в прозе, преимущественно на темы божественные и патристические. Иногда, оставаясь с Фанни наедине, он объяснялся ей в любви; рыдая, однажды он объяснялся в любви отцу; о матери он говорил, как о ком-то богоравном. Казалось, сердце его разрывается от каких-то мучительных и сладких чувств — восторга, жалости — то к Жанне д'Арк, то к Веничке, то к котенку, то к Людовику XVII, дофину, историю которого он только что узнал. Он сильно чувствовал, выражался иногда чрезвычайно возвышенно и в тетрадках своих злоупотреблял восклицательными знаками.

Особенно вдохновляли его в то время мысли о величии России, о русском Боге, о русской природе. Он брал карту Европы, по которой Фанни учила его, целовал со страстью зеленое пространство от Варшавы до Воткинска и в сердцах плевал на остальное. Фанни остановила его: разве там, куда ты плюешь, люди не говорят Богу, как и ты, «Отче наш»? И если ты плюешь на Европу, то, значит, ты плюешь и на меня?

Он поднял на нее бледное, курносое лицо: не браните меня, милая Фанни, сказал он, ведь я прикрыл ладонью Францию...

Но стихи его, и французские, и русские, были из рук вон плохи, и никак нельзя было назвать его будущим Пушкиным:

О, Ты, Бессмертный Бог Отец!
Спасает Ты меня!

И затем он сам же себе переводил:

Eternel notre Dieu c'est Toi qui a fait tout cela!

Это были попытки высказать свое недоумение, свое восхищение перед миром и его творцом, а главное — это была дань, которую он отдавал жажде себя

25

высказать. Иногда она выливалась в страшных ночных слезах.

Но это восхищение и мучительное желание его выявить, эти слезы давали пятилетнему ребенку какое-то странное счастье. Этому отчасти была причиной сама жизнь, тот добрый воткинский воздух, которым он дышал дома, где все его любили и где он всех любил, где дети и Фанни жили своей отдельной, веселой и трудовой жизнью, в низких, просторных комнатах мезонина. Летом, после раннего обеда, подавался «детский» экипаж, и Фанни ездила с Николаем и Пьером кататься. Зимой, когда с шести утра шли уроки, под вечер катались на саночках с горы, на берегу пруда. Фанни, обученная новым методам педагогики, хотела, чтобы мальчики делали по утрам гимнастику, но Петя это не любил, а Николай ленился: он уже тогда был красив и строен, долго причесывался перед зеркалом и мечтал научиться танцевать.

Когда приехала окончившая институт Зинаида, Фанни с гордостью представила ей ее сводных братьев, которых она до того никогда не видела: Николаю было восемь лет, он обещал быть кавалером хоть куда. Петя рядом с ним выглядел невзрачным. Он все старался уцепиться за юбку то матери, то Фанни. Был сочельник, Зинаида приехала откуда-то из Петербурга, за ней в дом вошло морозное облачко, в этом облачке она и осталась, сама воздушная, с осиной талией; с нею вместе вошли в дом всякие петербургские новости, секреты, какие-то новые игры для взрослых, девичьи шепоты и вскрики — особенно, когда в гостях бывали молодые люди; в доме началось совершенно феюное времяпровождение каких-то незнакомых барышень — Зининых подруг.

А ему все хотелось писать и писать, заявлять вселенной о чем-то, его душившем, чему он никак не мог найти настоящего выхода.

26

Tes ailes dorees ont vole chez moi,
Ta voix m'a parle,—

и затем, по-русски:

Господи, дай мне доброту,
послушание и безгрешность.

И Фанни внимательно, молча смотрела в тетрадь, поверх его руки, и никак не могла решить: поправить ему ошибки или оставить его в покое, потому что было в нем что-то, что вдруг могло разбиться от неосторожного прикосновения. Недаром она называла его «стеклянным мальчиком». Она читала эти кривые, неровные строки, и ее тянуло к нему — нежностью и любопытством; ей было страшно чего-то. Она еще не решила: сказать или не сказать Александре Андреевне о том, что в последнее время ей приходит в голову касательно Пьера, что ее беспокоит. Какие-то предчувствия...

И потом эта оркестрина, вывезенная Ильей Петровичем из столицы! Недавно Пьер стоял за дверью и слушал, приложив по-взрослому руку к сердцу. Видно, оно шибко колотилось у него в груди.

Это была единственная музыка в доме, и он услышал ее.

II

Оркестрина, вывезенная из Петербурга, — последнее слово музыкальной механики — звучала отлично. В доме не было музыкантов — ни флейта юности Ильи Петровича, ни приятный голос Александры Андреевны не оставили по себе к этому времени никаких воспоминаний. Фанни к музыке была глуха, — вся ее чуткость относилась к телесному и душевному росту детей.

Иногда в доме звучали бойкие польки или другие танцы, сыгранные каким-нибудь добрым гостем, — в доме, как во всяком порядочном

27

доме, был рояль. Никто из живых так не тронул сердце Пьера, как неодоушевленная оркестрина. Он прислушивался к ней сперва бессознательно... Внезапно он услышал «Дон Жуана». Это была ария Церлины.

— *На всю жизнь!*

Он почувствовал слезы, тоску, счастье. Ему в это время не было еще пяти лет.

Валов в органе было довольно много, были отрывки из опер Россини, Беллини, Доницетти. Самый звук уже волновал его, но когда начиналось «Vedrai, carino»*, он был охвачен тем «святым восторгом», из которого через двадцать лет выступили, быть может, его первые творческие восторги. Он бывал так взволнован, что Фанни схватывала его на руки и уносила наверх. Но там он продолжал слушать — уже неслышную — музыку, перебирать пальцами в воздухе и мутными глазами смотреть вокруг себя.

Мать первая подвела его к роялю, показала ему гамму, положила руки на клавиши. Он подобрал арию Церлины: все собрались слушать, и много по этому поводу было удивления и смеха. У Пьера был слух, Фанни была взволнована больше всех: теперь уже не Александра Андреевна, но она спрашивала себя: не вредно ли это? Но оторвать его от рояля было уже невозможно, а когда его оттаскивали от инструмента, он продолжал барабанить по столам, по диванам, по оконному стеклу — и однажды, ударив какое-то форте, разбил окошко, поранил до крови руку и был наказан.

Но эта кровь навела Илью Петровича на некоторые размышления. На Боткинский завод была приглашена Марья Марковна Пальчикова, — это случилось год спустя после приезда Фанни.

Марья Марковна была из крепостных и грамоте

* «Видишь, миленький» (итал.) — ария Церлины из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан» (II д., № 19).

28

обучалась на медные деньги. На медные же деньги выучилась она и музыке, но стеснялась играть при посторонних и в обществе чувствовала себя неловко. Три года она являлась обучать Пьера музыке. Он давно уже умел разбирать ноты лучше нее, но они сдружились. Что она играла ему и что он играл ей, — неизвестно. Фанни ревниво следила за этими уроками. Минутами она приходила в отчаяние: неужели ее любимый мальчик будет в конце концов музыкантом, а не полководцем, не министром? Она умоляла Пьера поменьше думать о музыке. Уроки — куда ни шло, раз приходит Марья Марковна. Но в свободные часы есть другие развлечения (и чего только не выдумывала она, вплоть до фейерверков, до маскарадов!), — уж если ему так хочется быть непременно «артистом», то пусть пишет стихи. Может быть, он все-таки станет Пушкиным?

Фанни говорила так не только потому, что она музыку не любила и не понимала. Музыка слишком сильно действовала на Пьера, особенно когда он «фантазировал» на рояле. Ночные слезы повторялись все чаще. Он кричал в бессонницу: «О, эта музыка, эта музыка!»

— Ничего не слышно, никакой музыки нет, — отвечала Фанни, прижимая его к себе. Но он решительно больше не мог вытерпеть этих, одному ему слышных, звуков.

— Она у меня здесь, здесь! — кричал он, рыдая и хватая себя за голову. — Она не дает мне покоя.

Но сквозь эти детские бессонницы, сквозь трудности наполненных уроками, прогулками и играми дней, на него теперь все чаще находила какая-то горделивая радость, словно он что-то решил про себя, что-то искал, долго, очень долго — ему казалось не год один, а много лет, потому что шестилетняя память уходила в глубину и темноту неизвестного, — искал и нашел, озарил какой-то темный угол в себе. Его слушали. Он мог этим странным, звучным язы-

29

ком рассказывать о себе, наконец, по-настоящему, не заботясь о рифме или грамматической ошибке, — он чувствовал, что этот язык поймут и отец, и мать, и дети, и Фанни, — но главное не то, чтобы они его поняли, главное — самому высказаться на нем.

И еще через год, на святках, он уже присутствовал на вечере, с Николаем и Лидой, среди взрослых гостей: весь Воткинск был у них в гостиной. Боткинские дамы выписывали из Москвы парижские туалеты — одевались со вкусом; многие были молоды и хороши собой. Лучше всех, как всегда, была жена помощника лесничего, Петра Ипатьевича Романова, молоденькая англичанка Гарриет-Катерина, дочь Джеймса Карра, установившего на заводе едва ли не единственный в те времена в России паровой молот.

Заезжий офицер, поляк, музыкант, красавец Машевский, после танцев и игр и живых картин, сел к роялю и сыграл мазурки Шопена.

Что это было? Это была дрожь, сохранившаяся (вместе с «Церлиной») на всю жизнь. Это было блаженство, равного которому он до сих пор не знал. Он рос. Он научился наслаждению, таинственной, перехватывающей горло, радости.

А когда Машевский через полгода опять вернулся в Воткинск и опять забряцал шпорами в гостиной, засиял ослепительно любезной улыбкой перед дамами, Пьер, кстати, носивший в то время еще клетчатые платица с юбкой в складку, сел за рояль и сыграл ему те две мазурки, которые тот играл на святках. Машевский поднял его на воздух, расцеловал пахнущую, как у всех мальчиков, птичьими перьями голову...

С этого дня Фанни стала собирать исписанные Пьером клочки бумаги, его старые тетрадки, какие-то залитые чернилами черновики: она думала, что все это может когда-нибудь пригодиться, лет через пятьдесят, когда она будет древней старухой и вернется во Францию, а он будет пожилым и знамени-

30

тым господином! Кто знает! Тем более что в скором времени ей угрожала разлука с ее питомцами.

В сентябре 1848 года воткинской жизни пришел конец. Еще в феврале Илья Петрович вышел в отставку с пожалованием ему пенсии и чина генерал-майора. Он думал о частной службе, об управлении заводами наследников Яковлева в Алапаеве, а пока что надо было ехать для переговоров в Москву и Петербург, да и Николая пора было определить в учебное заведение. При обоих младших была бонна, Фанни становилась ненужной, и она это сама отлично понимала. Она перешла к помещикам Нератовым, и в день отъезда Чайковских из Воткинска, рано утром, когда дети еще спали, выехала со своим сундучком со двора. Она не хотела ни их слез, ни своих собственных. Она увозила с собой «музей Пьера», который решила сохранить, пока будет жива, ей казалось, что она непременно когда-нибудь с ним встретится.

В предотъездных хлопотах дети едва успели заметить ее отсутствие. Забежала проститься Марья Марковна, тетушка и «сестрица», оставшиеся в Воткинске, заливались слезами. На первой же остановке — в Сарапуле — Пьер непременно захотел написать Фанни, но от горя сделал столько «чернильных ташей», что письма не послал.

Москва встретила их холерой, от которой едва не умерла молоденькая бонна Ипполита и Саши; дела пошли не так гладко, как предполагалось; Александра Андреевна бывала в бегах весь день, и за детьми смотрела Зинаида. Наконец, прибыли в Петербург. Был уже ноябрь месяц. Кварту сняли на Васильевском острове — целый день обнимались с давно не виданными родственниками, Чайковскими и Ассиерами, показывали детей, умилялись. Одиннадцать лет отсутствия разбудили горячие родственные чувства, особенно в Илье Петровиче, который к старости становился все более чувствителен.

31

Но Петербург для Пьера оказался не столь счастливым, как для родителей, Зины и Коленьки. И его, и Николая отдали немедленно в пансион Шмеллинга, и это было так непохоже на то, чем он жил до сих пор, что он и сам как бы спешил измениться. Надо было драться с товарищами — он дрался, надо было выводить учителей из терпения — он с удовольствием выводил. Учебный год был давно начат, надо было догонять класс, при полном безучастии окружающих. С восьми утра до пяти вечера просиживали мальчики в пансионе, а вечером готовили уроки, в темноватой и тесноватой квартире в доме Меняева, до самой полуночи. Оба к Новому году исхудали и вытянулись. А тут еще настоящие, серьезные уроки музыки с учителем Филипповым, первые преодоленные пианистические трудности... Это — сон? И он проснется в Воткинске, в снегах, рядом с Фанни, в детской, под лампадой. Но он не просыпался. На Рождество его повезли в театр. Нет, это было слишком, этого нельзя было вынести — опера и балет довели его до галлюцинаций. Он ходил ощупью, он опять не спал. В первый раз услышанный симфонический оркестр потряс его до основания. На несколько дней он лишился памяти. Это

безумное счастье, которое давалось ему звуками, этот страх, эта тоска ломали и переделывали его, ничего не оставляя от нежного, странного ребенка, выносили его, мучительно и волнующе, в большую жизнь. Бывали дни, когда он все бросал, в жару непонятной болезни, бредил, капризничал, рвался куда-то.

И внезапно сорокаградусная корь сразила его и как бы провела навечную черту между детством и отрочеством, — между бессознательным и сознательным существованием, — от этой болезни остались на всю жизнь необъяснимые страдания спинного мозга, какие-то припадки, — гениальное, больное и печальное наследие бабушки Ассиера.

Все занятия были запрещены, музыка остановлена.

32

После праздников, определив старшего в Горный корпус, Илья Петрович и Александра Андреевна с детьми выехали на завод наследников Яковлева, в Алапаев, и там, в глухом медвежьем углу, уже без воткинского блеска, без воткинской домовитости, без воткинского патриархального счастья потекла жизнь.

Учился он теперь у Зинаиды, которую любил все меньше, бывал иногда нестерпим; то зол и упрям, то приторно фальшив, ревновал всех к Коленькиным письмам (учится блестяще, ведет себя примерно), и изливал душу в письмах к Фанни, которые, впрочем, рвал и прятал, а отсылал другие, исправленные Зинаидой, в которых сообщая, что старается побороть свои недостатки, как то: лень и строптивость; что у Nicolas по всем предметам — двенадцать с крестиками.

В это время он впервые стал играть «для себя», в те минуты, когда ему особенно становилось грустно. Источник этой грусти он ни тогда, ни потом не старался угадать. В то время ему бывало грустно и от раннего одиночества, и от плохих отметок, и от того, что Петербург, с его настоящей великой музыкой, промелькнул так неповторимо, и от того, что его музыки начинают бояться старшие — бояться за его здоровье, за его будущее.

Он теперь старался не слишком часто говорить о том, что больше всего в жизни его волнует и очаровывает. Он научился даже скрывать свою чрезмерную страсть к звукам. У него завелись тайны — как мечь окружающему равнодушию. Он сочинял — не стихи, с этим навсегда покончено, — музыку, и не любил говорить об этом.

Но на него в тот год мало обращали внимания: Зинаида готовила его в Горный корпус, у Александры Андреевны родились близнецы, Саша и Ипполит уже учились грамоте; Илья Петрович не Бог весть как ладил с наследниками Яковлева...

33

Пора было Пьера везти в Петербург. Клетчатые платица заменила Александра Андреевна длинными брюками и темной курточкой. Она не догадывалась о том, что у ее второго сына есть уже опыт страданий и размышлений. Ей казалось, что надо, как можно скорее и жесточе, глушить его «впечатлительность», его «раздражительность»...

Они приехали в Петербург в начале августа — Александра Андреевна, Пьер и Саша. Пьеру не было еще и десяти лет. Любимец семьи, Коленка, в Горном корпусе, и по манерам, и по наукам, был первым, и в Горный корпус решено было сначала отдать и Петю. Но Александре Андреевне родные и знакомые в первые же дни прожужжали уши о новом училище: его только что кончил Платон Вакар, блестящий молодой человек, брат старинного друга семьи — Модеста Алексеевича Вакара, в честь которого Чайковские окрестили одного из своих близнецов. И Модест Алексеевич, и Платон, — тогда лишь начинавший свою карьеру в министерстве юстиции, — уговорили Александру Андреевну, и Петрушу отвезли на Фонтанку, дом 6.

Он был подготовлен вполне и выдержал вступительный экзамен одним из первых — не в самое училище, но в младшее приготовительное его отделение. Ему в те дни сшили курточку с пуговицами — вместо «настоящего» правоведского воротника, как полагалось приготовишкам, выпустили на курточку мягкий отложной и отправили в класс. В первую неделю он слегка потерялся от товарищей, от знакомства с классным самодержцем, мосье Бераром, от внезапного соседства с «настоящим» учением, — директор-то был один, и вообще один был дух, и близость к взрослым мальчикам, учившимся уже совсем «по-настоящему», придавала всему какую-то нешуточность, — все было непохоже на пансион Шмеллинга, куда его отводили в складчатой юбочке (теперь об этом стыдно и вспомнить!). На воскресенье

34

Александра Андреевна брала его к себе, на неделе она заходила его поведать. «Вот Коленька, — говорила она, прижимая его к себе, — давно свылся. И тебе стерпится, Петруша». Она догадывалась, что подготовить его к разлуке не удастся, что ее отъезд в Алапаев будет для него непереносим. «Вот Коленька, — повторяла она, — умный мальчик. Он учится, он радуется папашу».

В середине октября она собралась в обратную дорогу. Хотя недели две уже морозило, но санного пути еще не было. Были наняты тарантасы. В них уселись Александра Андреевна с дочерью и провожающие — дальний свойственник Илья Карлович Кайзер и оба мальчика. Уезжающих по московской дороге в те времена был обычай провожать до Средней Рогатки.

Петя старался не плакать — слезы мешали ему смотреть на мать. Он помнил всю жизнь, что никого так не любил, как ее, в тот именно октябрьский, хлопотливый день. Он всхлипывал, сидя у Кайзера на коленях, не спуская с матери глаз. Он не думал о конце путешествия, о том, что будет, когда тарантасы разъедутся. Погода была осенняя, туманная, холодная. Ватная шинелька казалась тяжелой плечам, ноги путались в ней. Короткий день подходил к концу, хоть по часам было и не поздно.

Тарантасы остановились у полосатого верстового столба. Все сошли в грязь, подмерзшую по краям дороги. Навстречу, в Петербург, шел длинный обоз, тяжелое небо спускалось на московскую дорогу, на придорожные строения каких-то складов новенькой красно-кирпичной фабрики.

В широкую, в оборках, юбку матери Петя вцепился обеими руками. Он в ту минуту хотел врасти в мать, соединиться с ней телесно навеки. Она простилась с Колей, с Кайзером, и тут все трое, и даже Сашенька стали отрывать его от материнской юбки. Возницы на козлах равнодушно ждали. Свободной

35

рукой он ухватился за бархатную тальму и оборвал какую-то кисточку (кисточки на Урале были у дам в большой моде). Кайзер схватил его на руки, он закричал не своим голосом, так что лошади шевельнулись.

Александра Андреевна и Саша быстро уселись, возница тронул вожжи. Петя, вырвавшись из рук Кайзера, бросился за колесами. Он давился слезами, старался протянутыми руками поймать убегающую подножку, широкое, не по нем, крыло. Земля внезапно подвернулась к нему, и он упал, не сдаваясь, все крича и плача. Кайзер поднял его и крепко сжал. Тарантас был уже далеко, прыгал по выбоинам дороги; сбоку видно было, как машет платком Сашенька...

Он вернулся домой с твердым намерением: он будет ждать. Всю остальную жизнь он отодвинет с этих пор, будет помнить только о матери, считать дни, месяцы, годы. Он понимал, что с ним произошло там, у Средней Рогатки, такое, чего не забудешь во всю жизнь.

Но жизнь, установленная Модестом Алексеевичем и Александрой Андреевной, постепенно подчинила его себе. Это было невесело. В класс ходил небольшого роста, бледный, скучный, нехотя старающийся мальчик. «Чайковский!» — малодушные глаза, скорые на слезы, взгляд исподлобья, будто он ищет: неужели в целом мире никого не найдется, кому можно было бы пожаловаться на грубую жизнь, на одиночество, на сирость, у кого можно было бы расплакаться, к кому тепло было бы прижаться? Слегка презирая его за слезливость и тихость, его любили, его жалели: и Шильдер-Шульднер, воспитатель, и Василий Мартынович Гоббе, который иногда приводил его к себе домой, и сам Берар, в конце концов, пораженный этой постоянной тоской, сам того не замечая, делал для Пети какие-то исключения.

«Милые и прекрасные мамаша и папаша! — писал он. — Мои прекрасные ангелы, целую ваши ручки и

36

прошу благословения!» «Помните ли, милая мамаша, как я в тот день, как уезжал, посадил плющ? (здесь бумага взмокает). Посмотрите, пожалуйста, как он растет?» «Я вижу, что Коля гораздо тверже меня характером, потому что он не так скучал». «Ах, мои чудные, прекрасные...»

Растравляя себя в письмах, он старался перед товарищами быть как все. О музыке он вспоминал редко; иногда — чтобы сделать приятное товарищам, среди которых он еще никого не выделял, ни с кем не сближался, он садился к роялю. Вспоминался Алапаев, особенно почему-то при «Соловье» Алябьева, — доиграть его до конца он никак не мог, — мать подпевала ему тогда, сидя у себя перед пальцами, дверь из гостиной бывала открыта, за тяжелыми коврами занавесками в окне лежал сибирский снег... Мальчишки слушали и посмеивались. Он играл им польки, они танцевали друг с другом.

Семейство Модеста Алексеевича состояло из него, жены Надежды Платоновны и двух сыновей — Виктора и Николая, «настоящего ангельчика», как называл его Петя в письмах. На воскресенья Модест Алексеевич брал Колю и Петю к себе, на семейный отдых. Но едва уехала Александра Андреевна, как в Горном корпусе случилась свинка, и Николай застрял в карантине. Он еще не появился, когда в одном из приготовительных классов Училища правоведения объявилась скарлатина.

Модест Алексеевич сильно обеспокоился. Оставить Петю в училище на неопределенный срок ему казалось слишком жестоким, он знал, как тот тоскует, и что для него значат воскресенья. Его заботило и то, что Николай, оставленный в карантине, в конце концов, заразился свинкой. Пете болеть скарлатиной было никак нельзя. Ученикам было предложено или выехать немедленно, или остаться. Модест Алексеевич в тот же день перевез Петю к себе в дом.

Ему казалось, что «страшная тоска» Пети пройдет,

37

что, может быть, этот перерыв в училищной жизни — к лучшему. Прошло несколько тихих безмятежных дней. И внезапно Коля Вакар заболел скарлатиной.

То, что *он* занес болезнь в дом, и то, что *он* в этом виноват не был, то, что никто не упрекал его, и все знали, что если бы не он, — этого бы не случилось, — впервые открыли ему несправедливость, бессмысленность жизни и поразили его. Ему было десять лет. Коле было пять. Явилась мысль: заболеть должен был я; я — взрослый, большой, я уже видел и слышал на своем веку такие прекрасные вещи: балет-феерию, симфонический оркестр, «Жизнь за царя». Что ж, если за них надо расплачиваться! Обезумевшая Надежда Платоновна находила время уверять его, что это «ничего», что у Коли «нервическая лихорадка». Он молился за дверью в детскую. О, если бы здесь был хоть Николай, чтобы разделить с ним его ужас! Но Николай был далеко, у него была смешная болезнь — свинка. А тут из-за него, Пети, умирал Коля Вакар.

Он умер ночью; в доме никто не спал; маленький труп лежал на кровати, и Петя стоял и смотрел на него, не умея соединить в одно убедительное целое Фаннины рассказы о душах, отлетающих в небо, в легких одеждах, под ангельское пение, и эту бессмысленную вину свою, это непоправимое горе. В ту ночь он в первый раз почувствовал незримую силу, побывавшую так близко от него, разрушившую что-то. Он впервые узнал ее тень, ее след, и его тоска и грусть, все его десятилетнее сердце потянулись по этому следу; и страшно, и сладко, и отвратительно, и утешно было то, что в мире этом, кроме жизни, существовала еще и она.

Он ждал отца и мать к февралю, но они не приехали. К весне попечения Модеста Алексеевича сменились попечениями некоего Ивана Ивановича Вейца — тоже приятеля Ильи Петровича — и Платона

38

Вакара. Петя ждал. Из Алапаева никто не ехал. В апреле воспитанников приготовительных классов повезли на детский бал в Дворянское собрание — он увидел Николая I, «так близко, как папашин диван стоит от его конторки в кабинете». Наступило лето. Платон Алексеевич поселил его у своей тещи на даче, под Петербургом. Он все ждал. Никто не мог бы сказать теперь, что он учится хуже Коленьки, что он вообще не примерный, не послушный мальчик. Приближалась осень. Он просил в письмах, он умолял приехать. В начале сентября Ильи Петрович приехал — побыл недели три, вывез сыновей в театр, накормил конфетами и, озабоченный делами, вернулся в Алапаев. Петя не успел опомниться. К январю отец обещал приехать со всей семьей. Но и в январе никто не приехал, и в марте тоже. Петя несколько раз был оставлен без отпуска. В Вербную субботу Платон возился с ним весь день, гулял с ним на вербе, покупал ему все, что понравится. С Платоном Алексеевичем ходить было очень интересно: Платон Алексеевич знал пол-Петербурга, особенно писателей. Петя решил, когда вырастет, во всем будет на него похожим.

«Мои драгоценные купидончики!» — писал он родителям в Алапаев, сообщая им, что в этом году переходные экзамены сойдут, верно, не так гладко, как в прошлом. В этом году он из старшего приготовительного переходил уже в «настоящий» класс.

Только в мае Илья Петрович со всем семейством переехал в Петербург. Он оставлял службу: у него была пенсия и скопленный на Урале довольно солидный капитал.

III

В доме оказались три барышни: сестра Зина, Лида Чайковская и кузина Аннет; в доме появились взрослые кавалеры, зазвучали польки, вальсы, закружи-

39

лись юбки, забряцали шпоры. И под это были сданы экзамены, наступили каникулы. Петя и Коленька переехали домой.

Дом теперь был на Черной Речке — просторная русская дача, снятая до осени. Какое это было счастье! Мать — рядом, опять можно, в случае чего, уцепиться за ее юбку, отец — седой, добрый, мягкий, где-то здесь же, близко; кругом — братья, сестра, кузины; два смешных близнеца уже ходят, и ползают, и учатся говорить. Ковчег, а не дом, где чувствуешь себя огражденным от враждебного мира, каких-то диких и обильных превратностей. И вот начинаются шалости:

К соседке-польке ходит усач. Аннет и Петя лезут через забор. У польки целое стадо индюшек, индюшки не выносят дуэтов. Аннет и Петя заводят дуэт, птицы гогочут.

«Видишь ли ты эту лодку», — тянет Аннет, и Петя ей вторит. И вот в окне появляется усач, слегка растрепанный, в расстегнутом кителе. Дети бегут с хохотом, с визгом из чужого сада.

А вечером светит луна, и в окне верхнего этажа появляются три воздушные тени — три барышни. Они, обнявшись, сидят на подоконнике, старшие давно спят. Щелкает соловей, пахнет цветами. Они поверяют друг другу сердечные тайны: у Аннет все еще очень туманно, ей нравятся сразу трое. Те две шепчутся о братьях Ольховских. Внизу на балконе что-то подозрительно потрескивает — и вдруг вбегает Петя: тише! тише! Под окном Николай с товарищем — оскорбленные кавалеры, которых ругают молокососами. Они подставили лестницу и подслушивают девичьи секреты. И вот уже берется большой фаянсовый кувшин с умывальника, полный холодной воды, и с шумом опрокидывается в окошко. Внизу крик, вверх — смех. И Петю награждают звонкими поцелуями.

В то лето он был очень жив, худ и нервен. Источ-

40

ником покоя его была мать. К фортепиано подходил он с чувством странным и двусмысленным, словно хотел сказать: с этим инструментом у меня сильно запутанные отношения. Они, кажется, еще далеко не кончены. Они, может быть, когда-нибудь возобновятся. В прошлом отношения эти были очень близкие, они и теперь меня волнуют, когда я о них вспоминаю. Но сейчас мне вам сказать нечего, милый друг... Впрочем, если барышни хотят потанцевать, то отчего же и не доставить им некоторого удовольствия?

Никто не напоминал ему его прежней игры, его бессонниц; мать считала, что вредная для здоровья страсть с возрастом прошла, — теперь пошло все другое: математика, латынь. Он ничего не говорил ей сам, раз навсегда, еще в Воткинске, решив, что музыка и он — это тайна, которую никому открывать не следует. Но сейчас он мало о музыке думал, его мальчишеская жизнь с осени вновь входила в свою колею: шесть скучных будних дней перебивались пестрым, веселым воскресеньем, когда его брали домой. Иногда, на неделе, из окна большого дортуара шестого класса ему удавалось видеть мать, проезжавшую на извозчике к своей сестре, жившей окна в окна с училищем. Она посылала ему сквозь вуаль один долгий, воздушный поцелуй.

Холера встретила Чайковских при их первом приезде из Воткинска. Холерой заболела Александра Андреевна летом 1854 года и холерой же заболел Илья Петрович в день похорон жены. Она умерла 13 июня. Всего несколько месяцев прошло, как обвенчали Зину с младшим Ольховским и проводили их на Урал, и вот уже Лида была помолвлена со старшим братом.

В те времена холерой болели многие, эпидемию сменяла эпидемия, слабей на короткое время. Невская вода разливалась по графинам и умывальникам, как и сорок лет до этого, как и сорок лет спустя.

41

Но надежды на спасение доктора не теряли. Александру Андреевну лечили, как умели; три дня прошло, как, казалось, миновала всякая опасность, затем больную посадили в ванную, и в тот же день под вечер началась агония.

Она не успела перекрестить детей, проститься с мужем, но когда она причащалась, какой-то проблеск сознания на мгновение отразился в ее чудесных, темных глазах. И затем все было кончено: кончена была ее жизнь, и на этом окончилось детство Пети. Шесть детей, из которых старшему было шестнадцать лет, шли за гробом. Отец их был при смерти.

Надо было обдумать, как жить дальше. Двух старших вернули в классы, Сашу и Ипполита спешно рассовали по закрытым учебным заведениям. Илья Петрович, взяв двух четырехлетних своих близнецов, сильно подавшийся, растерянный, переехал жить к брату.

Брату его, Петру Петровичу Чайковскому, в это время было под семьдесят. Он ходил «под француза», ноги его были прострелены, грудь разукрашена орденами. При нем было семейство: жена, пять дочек, три сына; ходил он на костылях, вид имел грозный и костылем нередко замахивался на засидевшихся у дочек гостей. Сюда приходил в ту зиму Петя из училища, не узнавая в воскресной толпе хозяев и гостей отца, притихшего и потерявшегося, немного боясь этого дяди, побывавшего в пятидесяти двух сражениях и до позднего своего брака прожившего иноческую жизнь.

Он выходил из своего кабинета, где писал мистические трактаты, складывая их к себе в стол и никого не донимая ими, он выходил обыкновенно в самый разгар воскресных «пти же», танцев или домашнего спектакля, и принимался тушить свечи могучим своим дыханием, давая знак, что пора расходиться. А поутру он уже занимался своим любимым делом: брал с собой сласти и выходил на прогулку. Перед

42

каждым встречным ребенком он останавливался, опираясь на свой костыль, совал ему пакетик, говорил: «посылка с неба» — и отходил. Его на Васильевском острове хорошо знали, и многие кланялись ему еще издали.

Сюда приходил Петя. Старшая из пяти дочерей была его веселая кузина Аннет, и с ней затевали они, как в то полное счастья и беззаботности лето, всевозможные шалости. Здесь быстро пролетали воскресенья, возвращая его снова к урокам, учителям и товарищам, к однообразному строю училищной жизни.

Впрочем, некоторый дух «гуманности», чего-то свежего и, может быть, свободного, в эти годы уже начал проникать в стены Правоведения. И прежде всего — бывший полицеймейстер, генерал Языков, прекратил свои обидные порки, когда воспитанников ставили «покоем», а в середину «покоя» ставили скамейку, и служитель, спустив с мальчика штаны и исподнее, производил позорную экзекуцию. Истерический генерал то грозно приговаривал к карцеру, к «хлебу и воде», то вдруг, прослезившись над чем-нибудь, мямлил голосом старой девы, думая, что такими оригинальными переходами своего генеральского настроения он отдаленно напоминает самого Суворова. Молодые дворяне взирали на него с беспокойством и отвращением. Учителя его боялись.

Но с самими учителями у учеников не завязывалось никаких отчетливых, длительных отношений. Были среди них добрые, были и свирепые, но почти все отличались казенной серостью, а если и были люди выше среднего, то на педагогическом поприще своего гения отнюдь не проявляли. Был ехидный батюшка, громивший с пафосом итальянскую оперу, но сумевший каким-то чудом внушить Чайковскому любопытство и любовь к православному богослужению; был француз, обожатель Расина и сам неудачный трагик. Большинство из них относились к Пете

43

благоклонно — даже математик, несмотря на то, что математика всегда была и осталась для Чайковского наукой таинственной во всех отношениях. И когда один-единственный раз у него вышла алгебраическая задача, он был настолько поражен, что сам себе не поверил, от радости бросился обниматься с товарищами, точно в Светлое Христово Воскресение.

Первые годы одиночества прошли, страх сменился привычкой. Из окружавших сверстников постепенно стали выделяться товарищи — еще не было среди них одного, единственного, незаменимого: с этим приятно было бегать по субботам в оперу, с другим готовиться к экзаменам в Летнем саду, запихивать до следующего дня карандаши и книжки в дупло старого дерева, потом отыскивать все это; третьему уютно было читать кое-какие страницы из дневника, который назывался «Все»; с четвертым обсуждался ближайший номер «Училищного вестника»... И вдруг все эти Масловы, Герарды, Адамовы были отставлены. В классе появился некто, кто сразу стал центром, божком, не только сверстников, но всего училища. И в его блестящей, искрящейся орбите завертелся Чайковский, наравне с другими.

Ему предшествовала слава. Говорили, что он пишет стихи, что знаком с Тургеневым и Фетом, отметившими этого мальчика и его дар, обещавшими ему славу Пушкина. Сам принц Ольденбургский покровительствует ему и пишет ему собственноручные письма. Леля Апухтин, с

первого дня любовь и гордость генерала Языкова, перешагнув через класс, рассыпая вокруг себя искры таланта, остроумия и дерзости, в 1853 году очутился в одном классе с Чайковским.

Его наивной вере в добро и справедливость, его нежности, чувствительности, жалости к себе и людям, тоске по матери, скрытой поэзии дневников и раздумий, Апухтин, которому тогда было, как и

44

Чайковскому, 13 лет, противопоставил свой едкий ум, насмешку, демонические сомнения в том, что преподносилось временем, как истина; он явился, как соблазнитель, как старший; ему было многое знакомо, о чем Чайковский еще и не догадывался; он был зрел в суждениях и вкусах, способности его были исключительны, он был избалован семьей и всеми теми, с кем он встречался; он уже умел ненавидеть, презирать, мстить; он видел перед собой широкий путь к всероссийской славе и был уже знаменит.

Все, что до сих пор было свято для Чайковского, понятие о Боге, отроческая любовь к ближним, уважение к старшим, — все это вдруг было осыпано насмешками, подвергнуто подозрительному анализу, поколеблено навеки с такой бесстыдной смелостью и пленительным своеобразием, что Чайковский почувствовал, что весь он, со всеми своими мыслями и чувствами, меняется у себя на глазах, — от одного утра до другого. Он набросился на чтение. Дома, у Ильи Петровича, были книги. В короткое время он перетаскал их все — он был неряшлив, беспорядочен и стал за этот год еще нервнее. Как будто почву вышибли у него из-под ног: в конце концов, неизбежного в мире не осталось ничего: все было расшатано Лелей, его язвительностью, его неверием, его пессимизмом.

Рядом с ним Чайковский казался мальчиком средних способностей, располагавшим к себе какой-то безобидностью, бесцветностью. На уроках он не спускал глаз с Апухтина, сидевшего рядом, с его болезненного лица, с его почему-то вечно подвязанной щеки. Кто кого научил курить? Они бегали в конец коридора. Это было не смакование медленного удовольствия, не запретная забава, а необходимое и спешное удовлетворение острой потребности в наркозе, и этим курение для них осталось на всю жизнь.

Чайковского не сажали в карцер, не пороли; он

45

был во втором десятке учеников — миловидный, добродушный, он чувствовал сам, что делается суше, упрямее, мрачнее под влиянием Демона, сидевшего с ним теперь на одной парте. Ночами в дортуаре они шептались до полуночи (их постели стояли рядом), у них были на всю жизнь схороненные от других тайны. Они любили друг друга, один — с оттенком покровительства и власти, другой — с завистливой тревогой: у Апухтина все было ясно, это был уже сложившийся человек, с талантом, с будущей славой. У Чайковского — все темно: в зыбкой и трудной жизни дрожал он, напуганный ее многообразием и сложностью, и впереди не было ничего, кроме тусклой карьеры чиновника министерства юстиции.

Не только в сравнении с Апухтиным он был средних способностей. Его исключительность, когда-то, в раннем детстве, прельстившая Фанни, сейчас исчезла. С кузинами он любил подурачиться и в шалостях бывал изобретателен; в училище, кроме курения, за ним не числилось проступков. В минуты веселости, молодого озорства, он вспоминал о музыке, он хватал полотенце, закрывал им клавиши, и — через полотенце — жарил что-нибудь дикое или терзал училищную фисгармонию. Но в минуты грусти он о музыке не вспоминал.

Он как будто боялся, что кто-нибудь может всерьез принять его музыку, ему было стыдно за то настоящее, что он когда-то, приготошкой, рассыпал перед товарищами. Он с восторгом и вместе с каким-то неловким чувством слушал, когда Апухтин декламировал тут же, в рекреационном зале, с пафосом:

Я знал его, любви тяжелый бред!
С неясными порывами страданья!
Со всей горячностью незрелых лет!
Со всей борьбой ревнивого терзанья!

46

С Адамовым он бегал в итальянскую оперу. Это он очень любил. О том, чтобы играть «для себя», в эти годы не было и речи, — все, что когда-то проснулось в нем при звуках моцартовой

арии, сейчас спало летаргическим сном, и он не мог, да и не хотел этого будить. Вот пять необыкновенные, фиоритурные вокализы, это он мог, или изображать Бозио, Тамберлика, Дебассини, Бернарди в «Вильгельме Телле» или «Севильском цирюльнике», под восторженный хохот товарищей и аккомпанемент Аннет; а то еще — заноситься в «Херувимской» под самый потолок своего юношеского тенорка.

Наравне с латынью и математикой в училище преподавались музыка и пение; Чайковский без особого рвения стал продолжать прерванные в свое время уроки. Учителем его был Беккер — знаменитый рояльный фабрикант; пению воспитанников учил Ломакин, быстро разочаровавшийся в теноре Чайковского, когда его голос начал меняться.

К православному богослужению и особенно к церковному пению Чайковский стал прислушиваться внимательно именно в эти годы, с увлечением пел в церковном хоре и даже мечтал стать его регентом. Однако Ломакин считал, что он вял, смешлив, да и рука у него недостаточно твердая, и он был отставлен.

Уроки с Беккером не приносили Чайковскому никакой пользы, и так как в семье еще жила память о его детской склонности и так как Чайковский сам в отпускные дни увеселял общество модными вальсами, Илья Петрович, со всегдашней своей заботливостью, иногда, впрочем, примененной как-то не ко времени и не к месту, — решил взять сыну специального учителя музыки, который бы приходил по утрам, в воскресенье, и с которым бы Петруша мог усовершенствоваться в своем таланте, буде таковой окажется.

Рудольф Кюндингер приехал в Петербург восем-

47

надцатилетним молодым человеком и сразу обратил на себя внимание как виртуоз на одном из университетских концертов, где он сыграл концерт Литольфа, — обе партии, и рояльную и оркестровую. В 1855 году он был приглашен к Чайковскому — молодых людей с такими способностями («чуть выше среднего», как оценил их Кюндингер) виртуоз видел немало. Платили ему исправно, в доме, как известно, было много барышень, и с уроков Кюндингер не торопился уходить домой.

Обыкновенно по утрам они занимались. Потом бывал завтрак — необычайно «цветистый», к удовольствию Кюндингера; потом учитель и ученик отправлялись в концерт, а вечером Петруша начинал свои музыкальные фокусы (с полотенцем и без), приводившие в восторг Аннет и ее сестер.

Они считали его музыкальным гением именно за эти фокусы, — а он в то время не мог бы перечислить симфонии Бетховена, не имел понятия ни о Шумане, ни о Бахе. На университетских концертах играли Мендельсона, Гайдна, Литольфа, иногда Моцарта и Бетховена; накануне он слушал Россини и Доницетти, потом, вечером — безымянные романсы. Все это ему нравилось почти одинаково, невежество его было поразительно.

Его чутье по части гармонии несколько раз удивило Кюндингера, но не настолько, чтобы полюбопытствовать, что случилось с его учеником, когда через три года уроки прекратились. К этому времени с инструментальной музыкой Запада Чайковский познакомился, проиграв ее с Кюндингером в четыре руки. Итальянская опера съедала его карманные деньги и держала его в плену: там он видел какое-то относительное совершенство — голосов, оркестра, хора, — и это ему нравилось. Уроки же с Кюндингером пришлось прекратить по случаю неожиданной семейной катастрофы.

Пятнадцатилетняя сестра Сашенька окончила

48

институт и вернулась в семью, и Илья Петрович решил, что этого достаточно, чтобы расстаться с братом и начать прежнюю жизнь. Сашенька должна была заменить близнецам мать — родственники только ахали на это. Но Илья Петрович сразу вознес дочку на такую высоту, что ей только оставалось повелевать домом и самим Ильей Петровичем. Оба старших брата, и те слушались ее беспрекословно. Она вошла в роль хозяйки дома, когда весной 1858 года старик Чайковский потерял в сомнительной афере все свое состояние. Это было настоящим ударом для него. Илье Петровичу приходилось на старости лет искать службу. В память прежних инженерных заслуг он получил место директора Технологического института. С детьми он переехал в большую казенную квартиру. Денег было мало, но видимость была богатая. Кюндингеру отказали, зато одевалась и выезжала Сашенька, зато в просторных казенных хоромы она, Коля и

Петруша могли вовсе устраивать свои бешеные вечеринки, — они сами себе теперь были хозяевами.

Апухтин был введен в дом. Время близилось к выпуску. Петр Ильич — он постепенно из Петруши становился взрослым, выпускным правоведом — готовился выйти в чине титулярного советника в петербургский чиновный свет. Несомненно, недурная («чуть выше среднего») карьера его там ожидала: в нем было достаточно приятности; внешней — в мягких манерах, в молодом лице; он нравился в обществе, премило играл на фортепиано и даже сочинил один романс на слова Фета: в музыкальном отношении слабый, но опять-таки барышни были в восторге. И внутренней приятности было у него достаточно: он был порядочный молодой человек, без излишней прыти, без каких-либо отчетливых способностей, — но нельзя же всех сравнивать с гениальным Лелей Апухтиным, о котором шумит Петербург! Он был, как говорили в то время, в

выс-

49

шей степени симпатичным юношей, и этим исчерпывалась его сущность. 13 мая 1859 года он окончил училище и поступил в I отделение департамента министерства юстиции.

То, что для других было началом жизни, самостоятельной, настоящей, для него было лишь продолжением все той же скучной обязанности что-то где-то делать, ему совершенно ненужное, отсиживать какие-то долгие часы, занимаясь посторонним ему и очень нелюбопытным делом. Он сидел в канцелярии, строчил бумаги и даже не помнил лиц людей, сидевших и строчивших рядом с ним. Иногда неприятная мысль задевала его: при его бездарности его непременно обойдут по службе; ох, что-то с ним вообще будет, при его бездарности и его рассеянности! Еще вчера изорвал он, задумавшись, одну ненужную бумагу и... съел ее. Привычка жевать бумагу осталась у него с детства.

Зато вечерами теперь он полностью предался тому, к чему постепенно, за последний год, пристрастился с целым кружком таких же, как он, молодых и веселых существ: сестра, брат, Аннет, Апухтин и еще с десяток неумных барышень и окончивших училище юношей кружились в каком-то непрерывном шумном смерче развлечений и удовольствий. Никто из них не заботился о том, что же будет дальше, были бы только деньги, платья, была бы только веселая музыка; лишь бы отстали старшие со своими замечаниями и советами.

Летом — фейерверки, домашние спектакли, прогулки, пикники. Страсть ко всевозможным выдумкам сохранилась у Чайковского с детства, — а тут был широкий простор ее проявлению. Зимой — катанья, появление в модные часы на Невском, в Летнем саду, в ресторанах, — как это ни было трудно. Уже появилась сноровка, как пускать пыль в глаза и как с десятью рублями жить на сто. И как пролезать с деланным равнодушным лицом в высший круг, когда

50

сердце стучит от самолюбивого волнения.

Девушек, женщин вокруг него было много. Его кузины и сестра сдружились с целым роем апухтинских поклонниц, которые были всех возрастов и на все вкусы, начиная от старухи Хвостовой (знавшей когда-то Лермонтова и теперь перенесшей свое обожание с Лермонтова на Апухтина) и кончая бойкими девочками, щебетавшими вокруг Лели его же стихи. Чайковский имел у них порядочный успех — он играл, танцевал, был неумом в затеях, но его больше занимало разнообразное женское множество, чем какая-нибудь одна; два-три раза пытался он, было, увлечься, но игра показалась ему не стоящей свеч, да и не было настоящего желания к этим милым, легким, порхающим существам. Сестра считала, что он становится любовным неудачником, и он на это не возражал. Уже через год он почувствовал полное, окончательное, непреодолимое равнодушие к женщинам.

Но страстей у него было немало. И на одном из первых мест был теперь театр. Иногда ему приходилось разрываться: два приглашения, «Жизель» с Феррарис, Лагруа в «Норме», премьера во французском театре... Он не знал, что предпочесть, что выбрать. Феррарис, как, впрочем, и Лагруа, перед которой он трепетал, была некрасива. Друзья потешались над ним. Но он так серьезно рассуждал о «твердости носка» и «элеации», что сразу было видно знатока по этой части. Иногда, впрочем, он принимался дома или в гостях, у многочисленных родственников и друзей, так ловко подражать и этой элеации, и твердости носка, и бельканто своих любимцев, и монологам Михайловского театра, что публика решала, что его подлинное дело в этой жизни — смешить ее всеми способами, и благодарно хохотала до упаду. А когда он, усталый от

представления, говорил кому-нибудь тихомолком, что «Сомнамбула», кажется, не стоит двух тактов Моцарта

51

или Глинки, слушатель смотрел с удивлением и недоверием ему в лицо.

Но для него, несмотря на этот вихрь шумного, подчас порочного и всегда легкомысленного существования, временами это было так. Веселая петербургская жизнь не всегда мучила в памяти то, что просияло ему так чудесно в дни, когда он был «особенным» и не был еще «обыкновенным», каким стал теперь.

Но в качестве «обыкновенного» он знал наизусть весь репертуар итальянцев и именно этим знанием подкупил своего нового знакомого Пиччиоли.

Это была темная личность, и темная его дружба с Чайковским как будто завершила то, что несколько лет тому назад начал Апухтин. В Петербурге Пиччиоли был известен как учитель пения. Неаполитанец, женатый на подруге одной из кузин Чайковского, он скрывал свой возраст, молодил, красил усы и бороду и румянил губы. Ему было под пятьдесят. Говорили, что ему под семьдесят, и даже некоторые уверяли, что он носит на голове специальную машинку, подтягивающую лицо. Он был пылок, легок, подвижен, всегда влюбленный в кого-нибудь, он одинаково ненавидел и презирал Бетховена и цыганский романс, признавая только Верди, Россини и других «великих мелодистов Италии», глумясь над симфонической музыкой, над мессой Баха и «Херувимской» Бортнянского.

В спорах с ним, в которых Пиччиоли всегда одерживал верх, Чайковский старался для самого себя выяснить некоторые смутные свои вкусы. Но мера подчас бывала им утрачена. Не было опыта и умения отстаивать свои мнения; самолюбию его льстила благосклонность этого бывшего и даже отчасти знаменитого человека. Втягиваясь через него еще больше в увлечение итальянщиной, в свободную от обязанностей и ответственностей жизнь, Чайковский скользил надо всем, что могло заставить его остановиться, задуматься...

52

Эта странная, подозрительная фигура безвкусицей своим, южным темпераментом, бесцеремонным поведением, дурной славой как бы довершала картину той пустой и пестрой жизни, в которой так свободно и весело чувствовал себя Чайковский, той жизни, где канцелярия и балет, переписка бумаг и итальянская опера и, наконец, раннее, блестящее и стремительное замужество Сашеньки летели в быстроте ничего не стоящего времени.

IV

Веселье на масленой 1861 года было последним, после него Чайковскому внезапно всё и все надоело. Сестра Саша была уже в Киевской губернии, в Каменке, замужем за сыном декабриста Давыдова, и уже ожидала ребенка; из гостеприимного дома постепенно исчезли ее просчитавшиеся вздыхатели. Великий пост наступил со своими селянками и корюшками, жизнь стала тусклой, театров не было, начался сезон конного цирка и концертов, — серьезных, а потому скучных. Служба тянулась, не принося никаких надежд, и вечерами в затихшем доме оставалось либо читать, либо играть на фортепиано, либо слоняться из комнаты в комнату, грызя себя за неудавшуюся жизнь. И иногда — все чаще — без свидетелей, без каких-либо внешних признаков, переживались приступы молодого, безысходного отчаяния.

Отец, Илья Петрович, сидит в своем кабинете и «реформирует» Технологический институт, то есть размышляет о том, как бы это заведение, куда судьба поставила его директором, подладить к новым веяниям переживаемых годов. Теперь всюду — новшества, и он, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, прекрасно понимает, что «дух» нынче другой, чем был во времена его молодости: меняется Россия, и

53

всем есть в ней дело. И за двух своих сыновей он спокоен — и Николай, и Ипполит найдут для себя в этой России место. Его заботит Петр... Но времени нет думать о семействе. С утра надевается мундир, навешиваются ордена. А вечером, в тишине кабинета, он пишет доклады. И о том, что у него есть еще двое: два десятилетних близнеца, — которым, после отъезда Сашеньки, и ногтей-то постричь, и проверить, вымыты ли уши, некому! — он забыл, он совсем забыл.

Они ходят в пансион, где их заставляют множить дробь на дробь, а они еще не знают таблицы умножения. Их срамят: генеральские сынки, а неучи, даже ножкой шаркать не умеют! Матери нет, сестра уехала, есть тетка, но у нее свои дети, свои заботы. Они торчат на кухне, они в темном углу зала тихонько плачут от скуки, обнявшись, как девчонки; они иногда слушают раскаты старого фортепиано.

Однажды, в тихий вечер, когда они сидели на одном из подоконников, а Чайковский шагал по квартире (днем он был у Пиччиоли, практиковался в итальянском языке), он заметил их, зевающих, болтающих ногами. Он подошел к ним. Он был вдвое старше. Он почувствовал, что они замерли, восхищенно и испуганно глядя на него и не зная, погладит он их или даст им щелчка. И вдруг ему стало их жалко. Он обнял их и повел к себе в комнату и там рассказал им какую-то невероятную историю, насмешил их, объяснил им дроби, научил читать «Отче наш». Он с жадностью смотрел в их лица: Толя был хорошенький, большеглазый. Модя — неказистее, пожалуй, — забавнее. Они могли пока стать смыслом его жизни. Там видно будет. Пока, сейчас, он будет кому-то нужен и кем-то беззаветно любим, — простые, неизбежные человеческие потребности! И прежде чем уложить их спать, он сыграл им и даже спел что-то. Они держались за руки и готовы были от благодарности и восторга умереть за него.

54

За ужином Илья Петрович долго смотрел на сына. Он несколько раз пытался сказать ему свои настоящие о нем мысли. Сначала он гнал их от себя: министерство юстиции, разве это плохая дорога? И разве мало молодежи сейчас, — когда месяца не прошло с объявления *манифеста*, и кругом говорят о судебной реформе, — разве мало преуспело на этом поприще? Взять хотя бы того же Платона Вакара... Да нет, что говорить! Но есть у Петруши другая дорога.

И вот Илья Петрович, ничего никому не говоря, ни даже брату, ходившему «под француза», с которым принято советоваться во всех делах, едет к Кюндингеру, тому самому петрушиному учителю, которому пришлось отказать когда-то и о котором все говорят, как о человеке понимающем. Он решил спросить его: есть ли у сына настоящий музыкальный талант?

И Кюндингер любезно отвечает ему: нет. У Петра Ильича Чайковского музыкального таланта нет. Есть способности, он, право, недурно играет. Но дальше что? Нет, для музыкальной карьеры он не годится. Да и поздно начинать: ему скоро двадцать один год.

Илье Петровичу времени нет заниматься семейством. Но за ужином (не продохнуть в квартире от запаха жареной рыбы и постного масла!) он успевает еще раз подумать о Петре и сказать: а по-моему, Петруша, ты бы мог как-нибудь сочетать службу с музыкальными занятиями. По-моему, Петруша, у тебя настоящий музыкальный талант, и не поздно, нет, не поздно сделаться тебе артистом. На что сын смеется: только я немножко пообвык в департаменте, а вы хотите, чтобы я пустился в изучение генерал-баса? Стар я для этого. Вон Моцарт в двадцать лет...

А в воскресенье об этом рассказывают дядюшке Петру Петровичу. Тот, стуча костылем, с дрожью в голосе кричит:

— Это зачем? Юриспруденцию менять на трубу?!

55

Для него в слове «артист» соединялись: цыган, безбожник, юродивый.

Заботой о близнецах было наполнено теперь свободное время Чайковского, и постепенно он сделал так, что вокруг него из прежней шумной ватаги не осталось никого, кроме Апухтина, который из «первого шута» при его «дворе» стал просто старым другом, с которым, собственно, все давно было переговорено, а в будущем могли быть одни расхождения. Знакомые барышни, кузины вышли замуж, и когда наступило лето и представился неожиданный случай съездить за границу — секретарем и переводчиком знакомого инженера, — Чайковский с радостью согласился. В первый раз покидал он Россию. От Динабурга до границы ехали в дилижансе, причем пассажиры снимали шапки, крестились, махали платками часовому и даже роняли слезы, — до того минута была торжественная. А там, сутки спустя, началось изучение немецкой столицы, — началось и кончилось «Орфеем в аду» Оффенбаха; мелькнул Гамбург с его низкопробными увеселениями; Бельгия, с «сумасшествующим морем», где внезапно защемило сердце при мысли об отце и братьях; Лондон, куда поехали послушать Патти, и, наконец, Париж.

Он был вполне счастлив. Этим летом, когда осуществилась его давняя мечта увидеть за границу, он вернул себе на короткое время способность глотать жизнь, не думать, сжигать время, а главное — наслаждаться весельем, пестротой впечатлений; вернул на два месяца с тем, чтобы к осени устать от всего этого: от людей, в которых постепенно разочаровывался, от

городов, рябивших в памяти, от трескучей и роскошной музыки, слушая которую, он все больше убеждался, что есть, кроме нее, еще и другая, которую он так мало знает, но которая и есть настоящая.

В сентябре месяце она показалась ему очень важной, но и очень трудной, когда он очутился в музыкальных классах, открытых в ту осень в Петербурге.

56

Это был пролог к консерватории, которую готовился создать Антон Рубинштейн, при всеобщих насмешках и протестах. Но Рубинштейн не спрашивал согласия на свои поступки ни у печати, ни у общественности. Музыкальные классы были открыты, у каждого из профессоров было уже по 2—3 ученика; и появились даже ученицы.

Уроки начинались в восемь часов утра. В это время часто бывало еще темно. Осень стояла холодная и сырая. Чайковский одевался при свечах, глотал чай с булкой и бежал от Технологического на угол Мойки и Демидова переулка. Там топили не каждый день, и когда топили, то дым ел глаза, и от угара болела голова. Профессор Заремба, читавший «музыкальное сочинение», усыпительно твердил, что минорный тон есть грех прародительский, а мажорный — греха искупление. От этих уроков приходилось бежать в департамент, где, при каждом новом назначении и повышении, Чайковского упорно обходили. Наступал вечер, и он теперь, объевшись балами и итальянской оперой, сидел дома, занимался с братьями, играл с отцом в карты или вывозил всех троих в русский театр.

Профессор Заремба не приближал его к музыке, это он и сам видел, но он теперь, отчасти ошущу, шел к ней сам, еще не зная твердо, что он в ней любит, кроме Моцарта (но это было еще детское): и постепенно начиная понимать, что именно он в ней не любит, что именно научается разлюбить. Прежде чем окончательно решиться на музыку, он начинал ненавидеть все, что не она: свет и службу. «Рано или поздно променяю службу на музыку, — писал он сестре в Киев, променяв на музыку уже свет, который оба они так любили. — Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом: я просто хочу только делать то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет покойна, и я не буду иметь

57

тяжкого права роптать на судьбу и людей».

Сомнения в себе его терзали, но первые попытки творчества давали какую-то прочность надеждам. «Службу я, конечно, не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник...» Но чему можно было научиться у Зарембы, никогда не слыжавшего Шумана, считавшего Бетховена — новым, а Мендельсона — модным? В Европе гремели Лист и Берлиоз, Вагнер в конце сезона появился в Петербурге. И, Боже мой, с каким волнением отправился Чайковский на его первый концерт!

Вагнер долго сам не знал, будет он или не будет дирижировать: у него был насморк (с насморком он и в Москву выехал). В зале не было ни одного свободного места; публика была богатая, нарядная, знавшая уже заранее, что Вагнер дирижирует спиной к публике и в перчатках. Нет, только он один мог позволить себе это! До чего это было неожиданно, смело и умно! Чайковский в антракте ходил слушать, что говорят о нем в зале. Его оглушила, ослепила эта музыка, он ужасался ей и не понимал ее. Многие говорили, что она гениальна.

Он долго стоял в дверях возле нескольких человек, остановившихся кружком. Они говорили с жаром. Тот, что выглядел всех старше, накручивал на палец длинную свою бороду и гудел басом; молодой инженерный офицер пытался вставить словцо в то гудение, но не мог. Совсем еще юноша, розовый и нежный, слушал двух споривших — военного и штатского, — вцепившихся друг в друга; тут же стоял чуть-чуть грузный, красивый человек восточного типа.

Один уверял, что он едва не заснул, такая была «тощища»; слова «бездарность», «дребедень», «хлам» так и сыпались вокруг; особенно возмущали всех тарелки, громыхнувшие, по их мнению, где-то «совсем зря». Щеголеватого военного нельзя было унять,

58

до того он разгорячился; большеглазый, с складистой бородкой держал его за руки.

Чайковский отошел к креслам, где две молоденькие девушки без смущения вытирали платком слезы восторга и волнения. Он еще раз оглянулся. Ему страстно хотелось послушать еще, хотелось самому сказать что-то... Он и сам не знал, что бы он сказал. Он позавидовал этому

одушевлению, дружеским прозвищам, долетавшим до его ушей. Любители? Музыканты?.. Толпа чужих и знакомых людей отделила их от него...

Санкт-Петербургская консерватория, открытая в 1862 году, на первых порах мало чем отличалась от Музыкальных классов, из которых она вышла. Открыта она была торжественно: молебном, пышным приемом вел. кн. Елены Павловны со свитой, и Антон Григорьевич Рубинштейн, вместе с десятком профессоров и преподавателей (немцами, итальянцами и поляками), впрягся в это дело. Только ко второму году существования консерватория стала несколько походить на европейское учебное заведение.

В первый год Чайковский, как, впрочем, и остальные, не ощущал особой разницы с «классами». Все так же философствовал и рассуждал профессор Заремба. Все так же усердно одолевались учениками технические трудности фортепиано. Департамент по-прежнему отнимал у Чайковского добрую половину дня. В душе он решил к лету его бросить, но новый консерваторский друг, весьма начитанный молодой человек, знакомый с самим Катковым и не по летам солидный, ему этого не советовал: из вас не выйдет ни Верди, ни Оффенбаха говорил Герман Августович Ларош, которому в то время едва минуло семнадцать лет, внимательно глядя в глаза Чайковскому, а чем же вы будете жить? И, действительно, уже и сейчас приходилось думать об уроках.

Этот Ларош с некоторых пор стал прямо необхо-

59

дим Чайковскому. В нем была какая-то деловитость, однако без всякой суетливости, и основательность знания, которая Чайковскому казалась удивительной. С детства Лароша готовили в музыканты, и все образование его было обдуманно и предрешиено. «Из вас не выйдет ни Верди, ни Оффенбаха», — повторял он с такой уверенностью в том, что это именно так и будет, что возражать Чайковскому было нечего.

Но желание *сочинять* удивительно упорно томило его в ту зиму, и все чаще поддавался он стыдной юношеской слабости: мечтать. Мечта была какая-то неосновательная — в ней не было ни подлинного честолюбия, ни непосредственного напора таланта, мечта была о композиторстве. Его стала волновать музыкальная обстановка — не кулисы оперы, не случайные знакомые, певцы и певицы, с которыми он бывал запанибрата, оставаясь им чужим, а вся эта обстановка, созданная Рубинштейном вокруг консерватории, — вечера, на которых его уже выпускали аккомпанировать; европейские музыкальные новости, долетавшие сюда; собственное российское музыкальное оживление и, наконец, сам Антон Григорьевич, к которому он поступил в класс на второй год обучения.

Теперь он уже не был чиновником, он был музыкантом: отчисление от штатного места в министерстве юстиции произошло незаметно — он просто перестал ходить в департамент. К началу второго года у него было на пятьдесят рублей в месяц уроков. Денежные дела отца шли все хуже, Чайковский не мог надеяться на его помощь. Приходилось порой пешком бегать из Коломны на Охту, щегольские сюртуки его истрепались; кое-кто из прежних знакомых на Невском перестал узнавать его, может быть, — умышленно, а, впрочем, вероятно, — искренне: он оттрастил волосы, носил широкополую шляпу.

С Ларошем, которого он теперь уже звал «Маня, вы», они долгими часами играли в четыре руки — и

60

было здесь все, и Бетховен, и «Жизнь за царя», и немецкие новинки. За завтраком между лекциями, репетициями, собственными уроками и концертами они встречались в «пятикопеечной» кухмистерской, в подвале Голландской церкви, куда сходилась вся консерватория. Вечером, провожая друг друга домой, они порой не могли расстаться до глубокой ночи, садились у ворот на тумбу, спорили, говорили о будущем, иногда пророчили друг другу великую музыкальную славу...

Но это бывало редко — оба были людьми сдержанными, и дружба романтиков была им не по нутру. Рассудительный, выглядевший старшим, Ларош приносил в эти беседы отголоски музыкальной политики, которой питался на холостых вечеринках у Серова, гремевшего в то время своей «Юдифью». Чайковский чувствовал всю пользу этой дружбы; без теплоты, но проникнутой каким-то ранним обоюдным уважением. Он впитывал в себя теперь все, что мог. Но больше разговоров, конечно, давала ему сама музыка.

Антон Григорьевич входил в класс. Он не был одарен лекторским талантом. Он садился к роялю, «лев разминал свои царственные лапы», и начинал лекцию игрой, и продолжал, и кончал

ее игрой: все сонаты Бетховена подряд, между ними: послушайте! Вы слышите? Дивно! Упоительно! И — дальше... Ученики и ученицы сидят не дыша. И так — три часа подряд. Вы поняли? Да, они поняли! И шумно выходит, насупившись, откидывая космы.

Или задавал он «сочинителям» задачи: к субботе написать квартет, ко вторнику — увертюру. Чайковский ночами сидел над партитурами, утром приносил в класс еще мокрые листы нотной бумаги. Антон Григорьевич сыграет четыре такта: «Никуда не годится!» — и дальше не станет играть. И закажет оркестровать D-dur'ную сонату Бетховена четырьмя разными способами. И, пожалуйста, без английского

61

рожка! У вас и без того всегда шуму много! А если что-нибудь ему понравится, то в виде ласки он так огреет кулаком по спине, что подогнутся колени. Впрочем, хвалил он больше Лароша и возлагал на Германа Августовича большие надежды.

Ларош скрывал от него свои посещения серовской квартиры. Не дай Бог! Антон Григорьевич был не только первый, он был единственный, — это всем было известно, а тут рядом с ним, в том же Петербурге, забродило вдруг что-то новое. Конечно, Ларошу в голову не приходило дружить или хотя бы знакомиться с молодой шайкой безграмотных в музыке инженеров, химиков и военных, о которых печатно и устно начинал гудеть Стасов, — еще недавно неразрывный друг Серова, а сейчас почти порвавший с ним, на почве все того же Вагнера. Ларош считал себя слишком серьезно образованным человеком, чтобы знаться всерьез с этой публикой, которая ничему никогда толком не училась, не уважала композиторского таланта Антона Григорьевича и в глаза не видала профессора Зарембу. Но Серов — это другое дело, это все-таки музыка, и нет нужды, что великие мира сего не ладят друг с другом. Странная компания льстецов, бездарностей, пьянчуг и замечательных людей собирается на его «вторниках».

Однажды Герман Августович прихватил с собой Чайковского, взяв с него клятву, что тот об этом не проболтается. «Юдифь» волновала в тот год и молодых, и старых и не сходила с репертуара. По дороге Чайковский, боясь проронить слово, слушал рассказ Лароша: это была история большой давности, это было в 1842 году, когда приезжал Лист.

Говорят, Серов со Стасовым — они тогда были как бы одно — весь концерт прорыдали от восторга, уткнувшись в бархатный барьер балкона, не спали ночь и на рассвете написали Листу письмо. Они сами отнесли это письмо, и Лист принял их. Что было при этом свидании, они не рассказали никому. Известно,

62

что, уходя, они несколько раз, обливаясь слезами, поцеловали Листу руку... Когда на следующий год Лист вернулся в Петербург, итальянская опера с Рубини уже не дала ему собрать полного зала... Говорят, Глинка очень огорчился этим.

Теперь от серовского молодого пыла не осталось следа: желчный ум да рассудочное творчес-тво по вагнеровским рецептам; полемика в журналах, вечная обида на всех, за то, что его якобы затирают; никому не нужные лекции «о музыке с ее технической, исторической и эстетической стороны». Чайковский шел к Серову без всякого очарования, без нетерпения. Он увидел окруженного подобострастием, еще не старого, серьезного и усталого человека. В тот вечер среди гостей был Достоевский. Был жестокий спор о музыке, в котором принимали участие решительно все. Ларош, как видно, был здесь чтим, но Чайковский не произвел никакого впечатления. Да и сам он почувствовал, что разговоры, в которые он внимательно вникал, хоть и любопытны ему, но люди остаются совершенно чужими: ни к хозяину, ни к гостям он не испытывал никакой приязни.

Итак, он теперь был музыкантом; гонялся за рублевыми уроками, зубрил теорию», писал по две композиции в неделю, донашивал сшитые у дорогого портного, заштопанные кухаркой, вырезные жилеты. Правоведский холодок в манерах оставался прежним; он был красив, строен, но выражение какого-то небрежения к окружающему появилось у него в глазах, в складках пухлых губ. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы напускать на себя такую маску, вместе с тем, как раз в эти годы ему пришлось узнать столько нового, что выражение равнодушия не вязалось с той душевной напряженностью, в которой он жил. Небрежение к окружающему происходило от постоянной острой сосредоточенности на самом себе. Свобода, которую он получил, бедность, которую за ней узнал, и, наконец, уверенность — так

63

поздно! — в бесспорном призвании, вот что доделало его как человека.

Но это не прошло даром, и о том, что происходило в нем в эти годы консерваторского учения и первых композиций, дали знать сильные и короткие галлюцинации, испугавшие маленьких братьев и скрываемые от отца. Перед сном бывали минуты жесточайшей дрожи, судорог, онемения конечностей, какие-то «удары», как он назвал их про себя, после которых наступала долгая бессонная слабость.

Он вспоминал, как в детстве, после кори, когда еще жива была мать, он болел странной болезнью спинного хребта, и доктор говорил о дурной наследственности. С тех пор прошла беззаботная, пустая юность, не оставив после себя ничего. Теперь, когда он душой возвращался к музыке своего детства, вместе с музыкой возвращалась и болезнь, иногда державшая его часами на грани одинокого безумия.

Музыка его детства, Моцарт! В каком сиянии сейчас возвращался к нему его бог. Это было небо, спускавшееся к нему в русскую, будничную юдоль, где, правда, бывали и свои редкие праздники: возобновление «Руслана», концерты в городской думе, вечерняя игра с Ларошем в четыре руки, «Рай и Пери» Шумана, перед которым он трепетал, и многое другое. Но *то* было небо, свет, слепивший и вызывавший слезы блаженства; и как он плакал! Больше всего в жизни он боялся, что эти слезы увидят другие и назовут его «институткой». Ему и без того было тяжело слушать, когда говорили, что он женственен, — от бешеного смущения и обиды он готов был драться.

Но кипел он редко, и смирение было в нем природным. Он стоял, опустив голову, когда Рубинштейн распекал его за «капитальное» летнее сочинение, «Грозу», увертюру к драме Островского. Смирение было и при удаче «Танцев сенных девушек», которыми дирижировал в Павловске Иоганн Штраус.

64

Это был первый успех; публика, впрочем, не обратила на новое имя никакого внимания: один, два бранных отзыва в печати, и все. А затем он сам в Михайловском дворце продирижировал новой своей увертюрой, в F-dur, исполненной консерваторским оркестром.

То лето он провел у сестры в Каменке. Сестра стала напоминать ему мать. После юности, полной выездов, петербургского самолюбивого блеска, — одна беременность за другой, ключи от кладовых, хозяйственный, трудолюбивый муж, большое, когда-то великолепное имение. Теперь от той Каменки, где сорок лет назад сверкали легкомысленные пушкинские красавицы, где сам он бывал влюбленным и ветреным гостем, не осталось почти ничего: и дом был новый, и парк наполовину вырублен, и «местечко» появилось под боком. Пушкина помнила здесь свекровь Сашеньки, да кое-кто из старой крепостной челяди, но праздный, веселый: дух старины отлетел отсюда навеки. Со стола Давыдова не сходили счетные книги. Свекла, пшеница, лен — теперь все это требовало не только от мужика, но и от помещика трудового пота.

И после этой семейственной жизни Чайковский внезапно остался совершенно один: вернувшись в Петербург, он простился с отцом и братьями, они уезжали на зиму на Урал к старшей, к Зинаиде. Чайковский остался один, переселился в пустую квартиру Апухтина, уехавшего в Москву, и понял, что еще немного, и он станет маньяком: ему никто не был нужен, и он не был нужен никому. Денег не было, были долги; кто-то из прежних чиновных приятелей предложил ему место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади... Он закрыл свои двери для всех. Сочинение шло туго, минутами казалось, что от строгостей Антона Григорьевича и недоверия окружающих есть одно спасение: департамент. Не вернуться ли?.. Он работал над нотными листами все

65

ночи и отрывался от них в невыносимой тоске. Он был во всем мире один, неоткуда было ждать ни участия, ни помощи. Ларош приходил с ним играть, спорить о Шопене; а время шло, ему уже было двадцать пять лет, и ничего еще не было сделано.

К новому году он должен был кончить консерваторию...

Иногда ночью, в чужой, пустой квартире, когда хотелось есть и было холодно, ему мерещился тяжелый, неудобный пистолет, из которого он скоро выстрелит себе в сердце.

V

В «пятикопеечной» кухмистерской Чайковский узнал консерваторскую новость: Николай Григорьевич Рубинштейн, младший брат Антона Григорьевича, *московский гений*, приезжает в

Петербург. Стояли ясные, осенние дни. Чайковский много ходил по набережным, он в последнее время начал предпочитать одинокие прогулки: нравоучительные беседы Лароша (о да, весьма полезные такому неучу, как он!) с некоторых пор ему наскучили.

Николай Григорьевич приехал в Петербург за делом: по примеру брата, владевшего Санкт-Петербургским отделением Русского музыкального общества, он готовился завладеть музыкальной Москвой, он открывал там свои Музыкальные классы, к будущей осени приурочил открытие консерватории. Виртуоз, дирижер, педагог, администратор, горячий, страстный человек, расточительной и забубенной жизни, мятущийся от женщины к женщине, и музыкант, каких Москва, да и Россия, еще не видели, он прибыл в столицу в поисках профессоров для своего московского детища, — великий брат его должен был поделиться с ним первыми своими учениками.

66

Великий брат не испытывал особой теплоты к Николаю Григорьевичу, он без особого воодушевления отдавал ему в пожизненное владение московскую свою вотчину лишь потому, что другого ему ничего не оставалось: надо жить в Москве, надо предаваться Москве, надо учить Москву, чтобы Москва тебе верила и носила тебя на руках; и Николай Григорьевич в последние годы в Москве явно обогнал в славе своего великого брата. И главное, он сделал это, соединив в одно легкость поведения и блеск таланта, достоинство славного имени и каприз артистической натуры, и от этого, как от всего, что он делал, веяло человеком, родившимся в сорочке, любимцем богов и людей.

Антон Григорьевич хмурился. Как виртуоза его «обожала Россия» и ценила за граница, пожалуй, наравне с Листом. Как композитора... под него, он чувствовал это, начинается подкоп со многих сторон: Серов; молодежь с новым критиком, неким дерзким дилетантом, Кюи; русское политическое хулиганье, метящее в еврейское его происхождение, в его германофильство. А сочинял он так много и так жадно! Он оперу писал в месяц, романс в четверть часа, и пусть это вызывало насмешки, он без боя не уступит никому место первого в России композитора. Неужели в осмеяние, неужели напрасно дана ему природой голова Бетховена? Неужели он меньше Глинки?

И теперь не композитор — не Серов, не Даргомыжский, — шли на него походом, не композитор, — виртуоз, дирижер, музыкальный делец и вождь оспаривал его славу. Московская деятельность Николая Григорьевича под вечный туш, под восторженные овации, какая-то ранняя во всем удачливость его, труд, превращенный в счастливый праздник, все это тревожило сердце Антона Григорьевича. Может быть, будущее рассудит их: от этой пылающей, себя не берегущей жизни, от постоянного шампанского и

67

коньяка, пожалуй, лет через пятнадцать, не останется ничего. Жизнь, создавшая его, — беспечного, умного, талантливого, ветреного, сама и погубит его, не даст ему важной и пышной старости, которая мерещится Антону Григорьевичу. Он-то соблюдает себя во всем, даже в женщинах, хоть соблазнов не счесть — молодые, красивые, родовитые, неприступные — все к его услугам. Николай Григорьевич смеется ему в лицо: «Этого добра и у нас сколько угодно!» В антрактах концерта он смотрит, как становятся они в очередь, чтобы пройти мимо великого его брата, сидящего в креслах, и поцеловать одну из больших, усталых, влажных рук его. При одном имени Антона Григорьевича они начинают заговариваться, хвастать полученным от него тогда-то и тогда-то взглядом, словом, цветком; и Николай Григорьевич с улыбкой пожимает плечами: в Москве у него творится совершенно то же самое. Обмирают от первого взятого им аккорда... Люди шепчутся о том, что нетерпеливый Антон Григорьевич завидует младшему своему брату.

В Петербурге — но только здесь — Николай Григорьевич, как гость, желанный гость, не был Антону Григорьевичу опасен. И Николая Григорьевича великий брат принял хорошо: перезнакомил со всей консерваторией, обставил его концерт с подобающим великолепием. Николай Григорьевич сделал визиты титулованным музыкальным покровителям («У нас в Москве титулованных-то нет, вместо титулованных да придворных — купцы, богатей, широкий народ»). Широкий народ баловал Николая Григорьевича: уже сейчас сажали его на обедах между генерал-губернаторшей и архиереем. Впрочем, петербургский свет отнесся к Николаю Григорьевичу очень любезно. «Ну, а кто же здесь, Антон, у тебя способный, кого ты мне рекомендуешь? Нет ли русского? А то у нас все немцы, да итальянцы. Полиция косится».

68

Антон Григорьевич назвал ему Чайковского. Он и сам себе не признался, почему это сделал: говорил, во-первых, что юноша весьма приличной семьи, во-вторых, — что музыкант неплохой, старательный. Где-то в глубине души шевелилась чудная мысль: убрать из Петербурга этого молодого человека. Бог знает, он почему-то был в нем не уверен: из покорного, смиренного ученика, из человека, не обидевшего мухи, он мог когда-нибудь — чего только не бывает на свете! — сделаться соперником.

Чайковскому к выпуску, к Рождеству, была заказана выпускная кантата. Добросовестно трудясь над ней, он раздумывал над своим новым назначением, над переездом в Москву. Ему обещано было пятьдесят рублей в месяц, с будущего года — сто. Не нищета, но бедность. Чужой город, чужие люди, разлука с братьями... Но надо же, наконец, начать жить, пролог и так слишком долго затянулся. Чувство большой благодарности к Антону Григорьевичу «за все, что он для него сделал», поднималось в нем. О Николае Григорьевиче он думал с опаской: он боялся новых сближений, хотя внешне Николай Григорьевич и понравился ему; особенно запомнилось соединение веселого смеха и задумчивого взгляда блестящих глаз, курчавая русая голова, манера петь слова — голосом избалованного, ленивого человека. И руки, руки! — единственного в мире рисунка благородных, сильных, волшебных пальцев.

Итак, кантата Чайковского на Шиллеров гимн «К радости» была пропета на выпускном акте, и автором была получена серебряная медаль. Профессор теории музыки, он уезжал в Москву 5 января 1866 года, он уезжал усталый от своей неразделенной любви к Петербургу: кантата его не произвела на здешних музыкантов никакого впечатления — Антон Григорьевич поморщился, читая ее, Серов сказал, что он «ожидал большего», молодой критик, Цезарь Кюи, объявил печатно, что «Чайковский совсем слаб», что

69

дарование его «нигде не прорвало консерваторские оковы». Один Ларош, неведомо почему, был от кантаты в восторге, и было как-то даже неловко слушать его пророчества по поводу будущего бессмертия Петра Ильича. Чайковский уезжал в Москву в усталости и сомнениях: нет, Петербург его не принял, — ни старый, ни молодой, он не умел заставить здесь понять и полюбить себя. Может быть, в этом городе где-нибудь и были люди, с которыми ему могло быть хорошо, которые и лично, и музыкально могли стать ему близкими, но он не нашел их. Он смотрел в окно вагона, поезд шел и шел, стучали колеса. Вот так начинается новая жизнь, думал он. И если был кто-нибудь, при мысли о ком сердце замирало и слезы заволакивали глаза, то в целом мире были только мальчишки его — Толька и Модька, его братья-близнецы, остальное же все было если не враждебное, то совершенно чужое.

Он приехал в Москву утром, снял номер в Кокоревской гостинице и тотчас отправился к Рубинштейну. Николай Григорьевич жил на Моховой, тут же ютились Музыкальные классы, — с осени и Николай Григорьевич, и новая консерватория должны были переехать. В классах было тесно и холодно, в комнатах директора — по-холостяцки нелепо и неудобно. Агафон, слуга Николая Григорьевича, державший и господина своего и всех преподавателей в страхе и трепете, встретил Чайковского, смерил его взглядом с ног до головы и угрюмо попросил «обождать».

Николай Григорьевич вышел веселый, обольстительно улыбаясь, разглаживая свои пышные усы, уверенно и свободно распоряжаясь гостем: оставил его завтракать, велел тотчас переехать к нему жить, обещал перезнакомить сегодня же со всей музыкальной компанией и вечером непременно, не откладывая, вспрыснуть приезд у Тестова. Водку пьете? В карты играете? Баб любите? Чайковский едва отвечал, но

70

этот сильный, шумный человек с глубоким взглядом был ему чем-то очень приятен. Он поблагодарил и согласился переехать к нему.

В этот первый же день его приезда на него явились взглянуть, как на столичное диво, помощники Николая Григорьевича по Музыкальным классам и будущей консерватории. Альбрехт, виолончелист, в полном смысле этого слова — Рубинштейнов раб, впрочем, по своим музыкальным вкусам «ужасно левый», и правый — в политике (оплакивал крепостное право). За Альбрехтом — Юргенсон, молодой коммерсант, из мальчишка, служившего в нотном магазине, ставший образованным человеком и недавно открывший свое собственное дело, с большой надеждой в нем преуспеть; и, наконец, русский человек — Кашкин Николай Дмитриевич, воронежский, с ленцой, не слишком далекий, какой-то уютный и немножко липкий, цедит слова в

нос, без конца трет правой рукой левую ладонь, а руки не очень чистые. Перхоть. Сальный нос. Очень приятный собеседник.

Люди все молодые, образованные; Николай Григорьевич командует ими, как пожелает; ходят они перед ним по струнке: прикажет лекции читать, прикажет ехать кутить с ним — на все согласны с благоговением. Да и как можно перечить ему, когда он одним словом, одним жестом уничтожить человека может, и всегда во всем выходит прав? Посмотрел на сюртуки и фраки Чайковского — прыснул со смеху: это для Москвы не годится, это в третьем году шито. У нас надо быть, батенька, по-модному одетым, это вам не Петербург, где можно интересничать в поношенном платье. Заставил надеть свой фрак, сам повязал галстук, огладил по спине: невыразимые, не коротки ли? Был на полвершка ниже Чайковского.

И двинулись снежным вечером на трех санях. Извозчики снимают шапки и говорят:

— Доброго здоровья, ваше превосходительство, Николай Григорьевич, барин.

71

Городовые берут под козырек, а у Тестова — собственный кабинет и собственные «татары», для «его превосходительства», господина Рубинштейна и его приятелей.

И Чайковский, в *его* фраке, опрыснутый *его* туалетной водой, посаженный рядом с ним и пьющий за новую и долгую с ним дружбу, чувствует какую-то странную приязнь к этому человеку, смешанную с удивлением и страхом.

Он был всего на пять лет старше Чайковского, но какая пропасть отделяла этого всесильного, знаменитого человека от начинавшего свою преподавательскую деятельность молодого профессора музыки! В Николае Григорьевиче, в первые месяцы московской жизни, сосредоточилась для Чайковского вся Москва — все имело значение только через Николая Григорьевича или около Николая Григорьевича, — там, дальше, казалось, начинается непонятный, какой-то дремучий город, куда Рубинштейн его порой тянет за собой, куда порой приходится Чайковскому сопровождать его, наравне с другими, не прекословя.

На Моховой их комнаты были рядом, их разделяла тонкая перегородка. Рубинштейн уверял, что Петр Ильич мешает ему спать скрипом своего пера. Под утро Чайковский, у которого сон был всегда чуткий, слышал, как Николай Григорьевич, вернувшись из Английского клуба, раздевается, с помощью Агафона, капризно жалуется на то, что у него где-то болит или сосет, как под ним скрипят пружины большого кожаного дивана. Чайковский слышал, как Николай Григорьевич ворочался, как ненадолго засыпал, когда в окнах уже светало. Вскрикивает Рубинштейн часов в десять, зовет Агафона мыться, летит в консерваторию, оттуда — завтракать к знакомым, всегда нужным и важным; оттуда — куда-нибудь с визитом, потом — обедать в ресторан, потом — в клуб или в Кружок до поздней ночи. Перед тем как лечь, иногда до утра, он играет — готовится к концертам.

72

Тогда в доме спать становится невозможно, и Чайковский в халате, со свечой, садится к столу и пишет. Но он едва слышит себя — из зала рвутся громы Бетховена, Мендельсона, Шумана...

С Моховой переехали, когда Музыкальные классы осенью 1866 года превращены были в консерваторию. Снят был дом на Воздвиженке, бок о бок с лавкой гробовщика. Чайковский поселился наверху — внизу жил Николай Григорьевич, из его комнат вел коридор в помещение консерватории; там, по коридору, бегали за ним женские тени — его ученицы. Иногда выпрашивали у него «на память» окурочек папироски, старый конверт, платок. Он слегка касался их, когда говорил с ними (если они были хорошенькие), доводя их этим до блаженного полубоморока.

Теперь Николай Григорьевич занимался каждую ночь после клуба — он готовился к концертам спешно, должен был скоро ехать за границу. Чайковский сидел у себя наверху, без сна — спать не было времени — он писал. Снизу на весь дом неслась рояль. Опять Чайковский переставал себя слышать, хватался в отчаянии за голову. Но разве мог он мечтать о переезде на собственную квартиру? На это прежде всего не было ни денег, ни смелости.

Прошло уже около года, как на первой странице «Московских ведомостей» появилось объявление: «Класс теории музыки П. И. Чайковского открывается по вторникам и пятницам в 11 часов утра, о чем доводится до сведения желающих поступить в означенный класс. Плата с ученика три рубля в месяц». Он стал профессором, о котором говорили, что он недурно сочиняет. Говорили, впрочем, только Альбрехт и Кашкин, сам Николай Григорьевич относился к этим

шалостям еще свысока: лучше бы он влюбился в кого-нибудь, ведь молодцу скоро тридцать лет стукнет, а он ни на одну юбку еще не посмотрел!

73

С открытия консерватории оба стали столоваться у Альбрехта — многосемейного, всегда озабоченного делами, домашними и консерваторскими. Собственно, кроме как к Карлуше да в консерваторию Чайковский мог никуда и не ходить: опера оказалась здесь хуже петербургской; полюбился ему Малый театр, Островский, к которому он с юности питал пристрастие; в концертах он появлялся аккуратно, они были здесь очень хороши: Николай Григорьевич вел их твердой рукой, и публики собиралось на них больше, чем в Петербурге — не столь изысканной, но куда более горячей. Итак, кроме Карлуши (большого любителя собирать бабочек), музыкальных сборищ да собственных уроков, Чайковский мог никуда не ходить, но это не всегда бывало так. Рубинштейн, когда только мог, не давал ему покоя.

Была одна девица, племянница купцов московских, по смешному имени Муфка, которую Николай Григорьевич непременно хотел навязать Чайковскому в невесты. Девица была веселая, миленькая, бойкая, Чайковский долго бегал от нее, хотя никакого отвращения к ней не испытывал, и можно даже сказать, что она ему нравилась. В Артистический кружок, в Английский клуб его провел Николай Григорьевич, и в Кружке, между прочим, он иногда проводил час-другой за ералашем. Садовский и Живокини, сидевшие тут часов по десяти ежедневно, лобызали его при встрече в губы и затылок (он долго не мог к этому привыкнуть), хлопали его по животу, наступали как-то невзначай и без всякого умысла в своих шутках на все его больные мозоли (а их было немало). Иногда давались балы, маскарады, Николай Григорьевич и Венявский садились за два рояля и импровизировали на заданные публикой темы танцы, молодежь кружилась; Островский и Писемский, между плотным обедом и плотным ужином, читали в гостиной последние свои произведения. И Петр Ильич, боясь, что по молодости лет его примут за

74

танцующего кавалера, скрывался в углах, не зная, с кем ему легче — с насмешницей ли Муфкой, открывшей сегодня для него нежные плечи, или со старыми актерами, до слез хохочущими над собственными деревянными экспромтами, над неповоротливыми каламбурами.

Мир продолжал оставаться ему чужим, подчас враждебным, иногда — страшным, несмотря на то, что Чайковский привлекал к себе людей: с первых московских месяцев он заметил это. В этом повинны были и внешность его — все более и более становившаяся приятной, почти красивой, и мягкое, чаровавшее людей обращение с ними — словно он хранил в себе тайный источник какой-то высокой, утонченной породы, так что сравнительно с ним простоватые и ребячливые его приятели казались грубоватыми дикарями, среди которых он, словно не касаясь их, проходил «стеклянным мальчиком» воткинской поры, уже, впрочем, не мальчиком, а вполне взрослым человеком.

Людям нравилось в нем то, что каждый мог быть уверен: *этот* не заденет их никогда, не сделает им больно, *этот* касается их с такой душевной осторожностью, что с ним всегда спокойно и никогда не опасно. Эта необычайная тонкость его, как любили говорить в то время, «деликатность», умение пройти и не задеть, возразить и не резнуть, покоряла очень многих. И только, может быть, один Николай Григорьевич знал (как, может быть, бессознательно до него чувствовал это же самое его великий петербургский брат), что за этой мягкостью растет в Чайковском что-то твердое, неколебимое, свое, что иногда не пробьешь ни дружеским окриком, ни даже угрозой.

То, что было в нем твердым, своим, что крепло и береглось им от всех, — было творчество. В душе поднималось возбуждение столь сильное, что только природная исключительная его работоспособность могла удовлетворить ее: здесь, сейчас, без промедле-

75

ния, вкусить всю сладость, весь восторг, осуществить свои вдохновения, сперва облитись потом труда, потом — слезами блаженства, — таково было единственное подлинное, терпкое и сладкое счастье этого человека. И пусть Петербург проводил его с таким ледяным равнодушием, пусть Николай Григорьевич с усмешкой встречает утром то, что было им написано ночью, он своего не отдаст, не уступит никогда.

В работе у Чайковского в тот первый московский год было несколько вещей. Он мечтал об опере, искал либретто для нее, мучился тем, что ни одно из предложенных ему Николаем Рубинштейном не годилось; он инструментовал сочиненную летом с-moll'ную увертюру (Николай Григорьевич, совершенно с ней «несогласный», не принял ее для концерта Музыкального общества, найдя ее «неудобной» для исполнения. Посланная в Петербург, она была встречена там иронически Антоном Рубинштейном и отложена им лет на двадцать в консерваторский архив); он переделывал другую свою увертюру, F-dur, — которую Николай Григорьевич продирижировал в Благородном собрании. В первый раз Чайковский был услышан Москвой — в печати не было ни брани, ни даже упоминания его имени. И, наконец, он писал первую симфонию, — писал с трудом, медленно, мучительно, сидя над неразборчивыми от правки черновиками: ни до, ни после не знал он такого изнурительного, такого трудного вдохновения, словно это было какое-то раз в жизни данное ему творческое препятствие, которое нужно было перешагнуть, чтобы подняться на высоту, — уже окончательно невозможную ни для Альбрехтов, ни для Кашкиных.

Эта высота стоила ему дорого: она лишала его сна, она превращала в муку ужины у Тестова и в Большой Московской, ужины, на которых ему, в очередь со всеми, устраивались овации, на которых учился он произносить необходимые речи, на которых то

76

обнимались с ним и пили на брудершафт, то бесцеремонно и подчас жестоко дразнили его и пугали — его слабые стороны в этом кругу постепенно, к его ужасу, всем стали известны. Эта высота стоила ему «удариков», доводивших до нервного ночного расстройства и тоски, до необъяснимого, перемежающегося паралича воли, продержавшего его в нечеловеческом, тайном страхе несколько месяцев, страхе неизвестно чего, и вдруг разыгравшегося почти полным безумием.

Но это случилось летом, а летом он уже не был в Москве. Он был на даче, под Петербургом, он опять свиделся с братьями.

Обоим им он писал довольно часто, стараясь сквозь всю нежность и заботу к ним не оставлять их полезными наставлениями. Он еще не знал, что готовит жизнь этим юношам, которых он взрастил. «Модя, зубри, зубри, зубри и веди дружбу с порядочными товарищами, а не с юродивыми». «Толяша, касательно преследующей тебя мысли о ничтожестве и бесполезности, советую тебе эти глупости отбросить. Ты должен... трудиться, трудиться, трудиться...»

Летом он увиделся с ними. Им теперь было шестнадцать лет, оба они боготворили его: Анатолий — по-своему, самолюбиво платя ему заботой за заботу. Модест... Петру Ильичу впервые в то лето стало страшно, что этот человек станет на всю жизнь его тенью.

Петербург был все тем же суровым, брезгливым к нему городом, где почему-то даже первую ночь пришлось Чайковскому провести на скамейке бульвара: кого-то не застал, где-то не открыли, а денег на гостиницу не было. С ущемленным сердцем встретился он здесь кое с кем. Апухтина он когда-то подпустил к себе слишком близко, и теперь не искал его. Он не мог простить ему одного письма в Москву, полученного перед отъездом: когда-то, в юности, этот человек разрушил в нем очень многое, сейчас стрелы его уже не долетали до Чайковского. Сам

77

Апухтин, в двадцать пять лет померкший, не сознавал этого, и по-прежнему старался влить в него яд сомнения в себе, сомнения в своем призвании, а главное — «серенькая жизнь» трудолюбивого друга раздражала завистливого Мефистофеля.

«Ты, как наивная институтка, продолжаешь верить в «труд», в «борьбу». Странно, как ты еще не помянул о «прогессе». Для чего трудиться? С кем бороться? Пепиньерка милая, убедись раз навсегда, что «труд» есть иногда горькая необходимость и всегда величайшее наказание, посланное на долю человека, — что занятие, выбранное по вкусу и склонности, не есть труд, что музыкальная деятельность для тебя такой же труд, как для М-а покупка нового галстука. Неужели же то, что я люблю красотою Х-а, считать тоже трудом?»

На это письмо, переполненное циничными намеками и музыкальными советами, Чайковский не ответил ничего. В Петербурге он встретился с Апухтиным, зная, что судьба — одному из них слишком много обещавшая и обещаний не сдержавшая, для другого — так сильно опоздавшая, так скупко награждающая, у них разная, что между ними лежит какая-то взаимная обида. Чайковский увидел, что барчук, баловень света и судьбы, промотал в себе что-то, быть может, самое ценное, и он стал перед ним стесняться себя, черной своей работы, своих надежд и бедности. Ему сейчас нужнее был Ларош, теплее бывало с братьями. И когда он вернулся в

Москву, то увидел, что вернулся к себе домой, что Москва, консерватория, Николай Григорьевич — это тот фундамент будущего, который он столько лет искал. Он понял, что у него есть теперь к чему прилепиться.

И московская «музыкальная компания» ответила ему на его поиски прочных отношений дружбой верной — пусть не глубокой, оттого, что уж очень простодушны и недалеко были сами люди, — дружбой верной, преданностью на всю жизнь, — правда,

78

слегка отзывающей винтом и выпивкой: приехал Ларош, разговоры стали серьезнее, возобновилась игра в четыре руки. За доверие Лароша, за его теплые слова при встрече Чайковский с готовностью переселился в черную переднюю под занавеску, на сундук — Ларош некоторое время жил наверху, в его комнате. На сундуке, под занавеской, тоже ведь можно было писать Первую симфонию, в крайнем случае — сбегать в трактир «Великобритания» и там работать в пустых залах, под однообразный стук бильярдных шаров. А большего ничего и не надо было в жизни, лишь бы не повторилось нервное расстройство, лишь бы оставляли его одного хоть на несколько часов в день приятели, ученики, клубные знакомые.

Мысль об опере все больше занимала его, он еще не знал, чего именно ему хочется: во всяком случае, не пышности, не лат, не невольниц. Островский несколько раз приходил ему на ум, — его «Сон на Волге». Островский был важен, но податлив на лесть, и обещал сам составить ему либретто.

Вместе с симфонией «Сон на Волге», опера, названная «Воевода», вывели его на путь первого признания. Вещи эти оценены были Москвой, как *недурные*. Куски оперы игрались в концертах; Первой симфонией продирижировал Николай Григорьевич, и адажио ее имело успех; Юргенсон предлагал издать четырехручные аранжировки... В тот сезон, в год приезда Берлиоза и триумфов итальянской оперы, Чайковского однажды даже заставили продирижировать своими «Танцами» из «Воеводы».

Заставили — и сами были не рады. Он не умел ни кланяться, ни держать себя за пультом, и уж вовсе не умел управлять оркестром. Его неловкость можно было заметить еще при первых появлениях перед публикой на вызовах после симфонии, когда он, в длинной шубе до полу, путаясь в полах, выходил на эстраду, мял в руке шапку, кланялся боком, уходя

79

носом в большой, выкроенный пелериной, бобровый воротник. Теперь он, оказавшись перед оркестром с палочкой в руке, на минуту обмер — перед тем не представляя себе, что его ожидает, он не чувствовал никакого страха. Он обмер, схватился левой рукой за бороду... Он не видел ни партитуры, ни музыкантов, он чувствовал, что голова его клонится на сторону и вот-вот упадет с плеч. Но музыканты знали «Танцы» назубок и, не обращая никакого внимания на его взмахи, посмеиваясь над ним, сыграли с начала до конца, ни разу не сбившись. Они делали свое дело и поменьше старались на него смотреть.

Публика много его вызывала...

Он пришел в себя только к концу вечера. Зал опустел. Рубинштейн, по всегдашней своей привычке, сидел на рампе, постукивая каблуками, и ел шоколад, окруженный девицами. Альбрехт ходил от пюпитра к пюпитру, убирая ноты. Кое-кто собирался ехать к Яру, — вспрыснуть первое и последнее выступление незадачливого *дирижента*. Чайковский ходил от Лароша к Кашкину: он хотел знать, что думают они о новом русском композиторе, впервые услышанном сегодня Москвой, о петербуржце, приславшем им свою «Сербскую фантазию», о некоем Римском-Корсакове. Чайковский был фантазией этой поражен.

Он знал о Корсакове только одно: что он принадлежит тому Петербургу, который когда-то Чайковского не принял, который еще недавно отверг Первую симфонию, где так «кавалерственно» относилась к нему консерватория Антона Григорьевича и так несправедливо круг Даргомыжского, единомышленник Корсакова — Кюи. Он знал, что этот круг, издевавшийся сейчас над Серовым, валивший с высот Антона Григорьевича, — этот круг считал «Руслана» выше «Жизни за царя», называл симфонии Бетховена «неинтересными вещами» и Моцарта — пустяком; это по их приглашению приезжал Берлиоз, — к которому Чайковский ничего не чувство-

80

вал, кроме почтения, это они превозносили Листа, — о котором Чайковский мог никогда не вспоминать. Но из этого круга месяц тому назад был сделан шаг к нему — Балакирев написал ему письмо... Далекая, но дружественная держава? Или вражеский лагерь? Или, наконец, обретенные братья, спаянные с ним навеки дружбой, музыкой, судьбой? Ни то, ни другое, ни третье. Он увидел их следующей весной, когда поехал в Петербург, он познакомился с ними. Они были невероятно уверены в себе и еще более уверены друг в друге, они говорили, что умирающий Даргомыжский пишет «Каменного гостя», перед которым рубинштейновские оперы — самая настоящая дрянь. Даргомыжского они чтили — через него вели родословную от Глинки. А Вагнер — ерунда!, а итальянщина — позор! В Европе только то хорошо, что никем не признано. И если Мейербера играют в увеселительных садах и публика под него лимонад пьет, — то так ему и надо!

С Балакиревым Чайковский чувствовал себя лучше, чем с другими, он был ему ближе всех: очень многое было ими взаимно уяснено в переписке, ставшей в эти месяцы необходимостью для обоих. Деспотом Балакирев был куда более жестоким, чем Рубинштейн, но его суду Чайковский поверил сразу — только бы хватило выдержки не горячиться, выслушивать и по возможности исполнять его советы. Балакирев играл ему его музыку — все, что мог достать, он достал, изучил, разобрал до мелочей, до пунктуации. Судил он требовательно, прекословить не разрешал. Когда хотел окончательно унизить, говорил: это вы у шарманщика подслушали! Чайковский кивал головой: его всегдашняя мечта была, чтобы его подслушал шарманщик, чтобы его сыграла когда-нибудь старенькая оркестрина во дворе. Но об этом сказать было нельзя. От каждого слова Балакирева оставалась в мыслях какая-то польза; хочешь не хочешь, а застревало какое-то новое знание чего-то,

81

что, кажется, и словом не назовешь. Сам Балакирев в этот год становился большим музыкантом, перед ним открывалась нелегкая дорога врага Рубинштейнов и немецкой традиции, дорога главы целой школы.

Глинка когда-то отметил его, еще почти мальчиком, и теперь Корсаков, Кюи, Мусоргский шли к нему, как к учителю и старшему другу. В Корсакове Чайковский почувствовал сразу — с той именно «Сербской фантазии» — громадное музыкальное дарование, но с ним сойтись он не мог: Корсаков оказался при знакомстве слишком юным, каким-то желторотым птенцом; с Кюи, памятуя его печатный отзыв, оставался холодок в отношениях, Кюи втайне был ему неприятен. А Мусоргский раздражал самым существом своим — шумный и дерзкий, с прибаутками, словечками, прозвищами, говоривший о себе в третьем лице. Казалось, стоит только выйти за дверь, и Мусоргский сейчас же обидно передразнит его, как передразнивает он Рубинштейнов, Серова, Лароша, стоит что-нибудь сказать — придерется немедленно, вспыхнет, пойдет спорить; стоит сесть за фортепиано — кажется, слушает только из вежливости, оттого, что воспитан, на самом же деле не хочет слушать никого, кроме себя и своих.

Был еще пятый, всегда являвшийся позже всех, красивый, медлительный человек, несколько странной жизни: химик, друг Менделеева по Гейдельбергу, Бородин. Он приглашал к себе Чайковского (был женат), извинялся, что в квартире беспорядок, что обед подается ночью, а завтракают целый день, так со стола ничего и не убирается. Человек очаровательный, талант, кажется, необыкновенный, но ни на что не хватает у него времени, и музыку свою пишет он карандашом, на чем придется. Потом покрывает рукописи яичным белком, чтобы карандаш не осыпался и развешивает на веревках по квартире, как белье, для просушки. Говорят: «гений». Но они все

82

друг про друга говорят: «гений». Петербург оказывается городом гениев.

С Балакиревым Чайковский успевает видаться наедине, он приходит к Балакиреву рано. Балакирев садится за фортепиано, играет ему из «Тамары», знакомит его с последними романсами Кюи (поет он неважно), с музыкой всех «своих».

— А вот вам Бородин! — и главная тема Esdur'ной симфонии. — А вот — Мусоргянн!

Нет, это уже какофония! Чайковский морщится. Есть в Мусоргском для него что-то от шута, от юродивого; и «Светик Савишна» корбит его до неприятного холода в спине.

Он слушает Балакирева. Много, может быть, все, что он говорит о России, о музыке, о народной песне, о Глинке, ему чуждо. То, что в последние годы в нем отвердело и закрепилося на всю жизнь, не дает ему права любезно соглашаться с хозяином, но для спора с ним он чувствует

себя таким невооруженным, едва ли не глупым. Он сам садится к роялю. Стасов из передней изрекает чудовищным басом:

— Вас было пятеро, а теперь стало шестеро. Чайковский знает, что это — одна из придуманных нынче стасовских фраз, что никто, даже сам Стасов, в это не верит.

За чайным столом, до поздней ночи, он рассказывает им о Москве. Его здесь считают москвичом, и — что делать! — он не отказывается от этого звания. Они говорят ему о Петербурге. Петербург обновился, переменялся: Антона Григорьевича заставили этой весной уйти из директоров консерватории; забаллотировали в вице-президенты Музыкального общества Серова, и вместо него выбрали Даргомыжского, которого в этой компании фамильярно и нежно называют «Даргопехом»; а на Серова ходят непочтительные куплеты:

Кресло гению скорее,
Негде гению присесть:
Гений очень любит честь! —

83

распеваемые хором. В этом новом Петербурге Чайковский опять чувствует себя не очень званным гостем. Балакирев и Мусоргский теснят его, Стасов гудит в ухо, упрекая москвичей в том, что они только и ходят, что в итальянскую оперу, да обедаются по ресторанам. И Чайковскому становится и впрямь за Москву неловко: да, теперь в Москве действительно итальянская опера заглушила все, Арто производит там фурор... Балакирев машет рукой: да мы-то ее знаем, Артиху вашу, она и у нас тут зимой делала фурор: три тысячи брала за вечер, а что пела? Мазурку Шопена! Вариации Роде!.. Свою колоратуру показывала бомонду.

И Чайковский возвращается в Москву — где и впрямь обедается, в первый же вечер, пирогами и селянками. Он возвращается к себе домой. У него ипохондрия.

VI

Ее звали Дезире. Ей было тридцать лет. Она была дочерью валторниста Парижской оперы Арто и племянницей известного скрипача. Она была ученицей Полины Виардо и во многом природно была с ней схожа: талантливая, умная и некрасивая, она была большой актрисой, с голосом такого изумительного охвата, что давал ей возможность петь с одинаковым совершенством и Азучену, и Леонору в «Трубадуре». Она была примадонной итальянской оперы, в тот год приехавшей в Москву.

Дезире была некрасива: полна, красна телом и лицом, запудрена, завешана драгоценностями; она была блестяще остроумна, находчива и самоуверенна в разговоре. Прием, оказанный ей Россией, поразил ее, у шлейфа ее белого платья оказались московские купцы и музыканты. Но она была суховата в обращении с поклонниками. В тридцать лет она была девушкой.

84

«Ах, Моденька! Если бы ты знал, какая певица и актриса Арто!..» Чайковский иначе, как «великолепной особой», сперва и не называл ее.

Она задевала сердца не только голосом своим, она была певицей с драматическим талантом; перед ней все остальные были куклами, птицами, но не женщинами. На сцене — Джильдой, Маргаритой — она бывала так хороша, так высоко и чисто было ее искусство, что многие до конца жизни не хотели слушать иных Джильд и Маргарит, для многих ни Патти, ни Нильсон не затмили ее в памяти.

Николай Рубинштейн и весь его штат прощали ради нее итальянской опере триумфы. Музыкальному обществу приходилось считаться с ней и не устраивать своих концертов в день итальянских премьер. Что делать! Большой театр бывал плотно набит, антрепренер загребал деньги, тенор Станио покорял партер и раек, Арто вызывала такое волнение... Опускались руки: Балакирев-то был, очевидно, прав! Отечественная опера в загоне. Да и как ей тягаться с таким привозным великолепием? Вот, например, всего триста рублей отпустили на постановку «Воеводы»; Меншикова, певица, просила Чайковского спешить: ей нужно было хоть что-нибудь к бенефису. Хоры уже разучивались, и все делалось на скорую руку. Впрочем, Чайковский был счастлив и этим.

Теперь, после утренних уроков в консерватории и дневных репетиций «Воеводы», он вечерами шел в Большой театр и слушал Арто. Такой актрисы ему, вероятно, для своих вещей никогда не видать, — ей нет равных. Репертуар ее — пора в этом сознаться — почти дрянь, что делать, это так! Может быть, это даже не совсем музыка?.. Но как поет она, но как двигается по сцене!.. И теперь, в мужской компании, несущейся по московским ночным улицам в ресторан, смеется, острит и лукавит женщина. В первый раз Чайковскому кажется, что не все они — несносны

85

и ненужны, в первый раз в нем просыпается чувство странное, какое-то волнение, какая-то несытость, которой он рассудочно предается.

Он не старался остаться с ней вдвоем, а если бывал у нее, то говорил о музыке, о театре, о загранице, — никогда о себе. Прежде всего, у него не было привычки рассказывать о том, что в нем происходит, он стыдился того мрака, который все упорнее спускался на него, своего отчаяния, своего безумия. Медленно каменела в лице его маска вежливости, медленно остывали испуганные, грустные глаза. В разговоре Арто было так много блеску и прелести... Он никогда не встречал таких женщин. В поведке ее, в небрежности, в самоуверенности и чуткости сквозило для него что-то мужское.

Она прежде всего попросила его аранжировать для нее «Черное домино» Обера. Ларош был возмущен: сегодня — аранжировка Обера, а завтра она заставит вас писать для нее арии! Но Чайковский сейчас же согласился. И не арию он посвятил ей, а романс для фортепиано. Она прослушала вещь с нескрываемым удовольствием. Несколько дней он был вне себя от беспокойства и избегал ее, а потом, с букетом цветов, в цилиндре, в белых перчатках, поехал объясняться.

Он не знал, что такое любовь, и не знал, что такое женщина. Десять лет вокруг него были женщины — сперва подруги сестры, потом ученицы, актрисы, светские женщины. Ему нравилось, когда они бывали молоды и красивы, когда они бывали при этом неглупы, то ему казалось, что это чрезвычайно приятно. Но все они были обыкновенные. Дезире Арто была женщина необыкновенная.

Была в ней — от ремесла ее, от славы, ее окружавшей, и, конечно, врожденная — властность, которой было сладко подпасть и которая вовсе не походила на властность Николая Григорьевича или деспотизм Балакирева. Это было что-то совсем другое, не раз-

86

дражающее, не вызывающее отпора, но убаюкивающее, и ему хотелось предаться ей, но так, чтобы уже без возврата. Его приятели женились и были счастливы, а тут еще — музыка, общий путь, неженское понимание. Стать как все? А что, если в этом и есть счастье? Стать как все — и остановятся эти позорные слухи, бегущие о нем по Москве...

«Милый, дорогой мой папочка!

Так как до вас, конечно, доходили слухи о моей женитьбе и вам, быть может, неприятно, что я сам о ней ничего вам не писал, то я вам сейчас объясню в чем дело.

С Арто я познакомился весной, но у нее был всего один раз после ее бенефиса, на ужине. По возвращении ее нынешней осенью я в продолжение месяца вовсе у нее не был. Случайно встретились мы с ней на одном музыкальном вечере; она изъявила удивление, что я у нее не бываю, я обещал быть у нее, но не исполнил бы обещания (по свойственной мне тугости на новые знакомства), если бы Антон Рубинштейн, проездом бывший в Москве, не потащил меня к ней. С тех пор я чуть не каждый день стал получать от нее пригласительные записки и мало-помалу привык бывать у нее каждый день. Вскоре мы воспламенились друг к другу весьма нежными чувствами и взаимные признания немедленно засим воспоследовали. Само собой, что тут возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничто этому не помешает. Но в том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Во-первых, ее мать, которая постоянно находится при ней и имеет на свою дочь значительное влияние, противится браку, находя, что я слишком молод для дочери и, по всей вероятности, боясь, что я заставлю ее жить в России. Во-вторых, — мои друзья, и в особенности Н. Рубинштейн, употребляют самые энергические силы, дабы я не исполнил предполагаемый план женитьбы. Они

87

говорят, что, сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа своей жены, т. е. буду ездить за ней по всем углам Европы, жить на ее счет, отвыкну и не буду иметь возможности работать, словом, что когда любовь моя к ней немножко охладет, останутся одни страдания самолюбия, отчаяние и гибель. Можно было бы предупредить возможность этого несчастья решением ее сойти со сцены и жить в России, — но она говорит, что, несмотря на всю свою любовь ко мне, она не может решиться бросить сцену, к которой привыкла и которая доставляет ей славу и деньги. В настоящее время она уже уехала петь в Варшаву, и мы остановились на том, что летом я приеду в ее имение (близ Парижа) и там решится судьба.

Подобно тому, как она не может решиться бросить сцену, я, со своей стороны, колеблюсь пожертвовать для нее своей будущностью, ибо не подлежит сомнению, что я лишусь возможности идти вперед по своей дороге, если слепо последую за ней. Итак, милый папочка, вы видите, что положение мое очень затруднительно: с одной стороны, я привязался к ней всеми силами души, и мне, кажется, невозможно прожить без нее, но, с другой стороны, холодный рассудок заставляет меня призадуматься над возможностью тех несчастий, которые рисуют мои приятели. Жду, голубчик, вашего взгляда на это дело.

Он написал это письмо на второй день Рождества, а через три дня уже читал на него ответ: престарелый Илья Петрович, пролив много радостно-грустных слез над сыном, рассуждал умилительно:

«Ты любишь, и она любит, ну, и дело в шляпе, но... ах, это проклятое но... а ведь действительно надо подумать, надо разобрать все, по косточкам, надо развязать этот гордиев узелок по ниточкам. Дезире, т. е. желанная, непременно должна быть прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее влюбился...»

88

Но прежде всего — о «капитале»:

«Ты артист, она тоже артистка, оба вы снискиваете капитал из ваших талантов, только она уже снискала себе и капитал, и славу, а ты только еще начинаешь снискивать, и Бог знает, достигнешь ли того, что она имеет. Друзья-приятели сознают твой талант, но боятся, чтобы ты не потерял его с этой переменной: я против этого. Если ты ради таланта бросил коронную службу, то, конечно, не перестанешь быть артистом даже и тогда, когда на первых порах не будешь счастлив, так бывает почти со всеми музыкантами. Ты горд и тебе неприятно, что еще не приобрел настолько, чтобы содержать жену, чтобы не зависеть от ее кошелька. Да, мой друг, я понимаю тебя, это горько, неприятно, но если ты и она в одно время станете трудиться и приобретать, то вам не завидно будет».

Дальше — о положении мужа при великой артистке:

«Если вы полюбили друг друга не ветреным образом, солидно, как подобает людям вашего возраста, если обеты ваши искренни и никогда неизменны, то все вздор. Счастливая супружеская жизнь основана на взаимном уважении, ни ты не допустишь, чтобы жена твоя была при тебе вроде служанки, ни она не станет требовать, чтобы ты был ее лакеем, а сопутствовать можно всегда и следует, лишь бы в то же время сочинять и где прилично ставить свою оперу или публично разыграть свою симфонию или другое. Добрый друг сумеет возбудить твоё вдохновение, успевай только записывать, с такой особой, как твоя желанная, ты скорее усовершенствуешься, чем потеряешь свой талант».

«Я прожил двадцать один год с твоей матерью и все это время одинаково любил ее с пылкостью юноши и уважал, и боготворил ее, как святую. Если твоя желанная имеет такие же качества, как твоя мать, на которую ты похож, то все эти предположе-

89

ния вздор. Будущность наша известна только Богу, но зачем предполагать, что ты лишишься возможности идти вперед по своей дороге, если слепо станешь следовать за ней? Это значит, что ты как будто не имеешь своего характера, а будешь простым прихвостнем, станешь только носить ее шлейф и двумя пальчиками выводить на сцену, а потом улизнешь в толпу, как ничтожный прислужник. Нет, мой друг, будь ты прислужником, но только прислужником самостоятельным, когда она будет петь твою арию, так чтобы аплодисменты принадлежали вам обоим — зачем же тогда слепо следовать?»

В конце письма Илья Петрович с нежностью обращался прямо к мадемуазель Арто:

«Милая Желанная, тебя я еще не имею счастья знать, знаю только твою прекрасную душу и сердце через него. Не худо бы вам испытать друг друга, ради Бога только не ревностью, а

временем. Испытайте еще раз и потом уже решайтесь, помолясь Богу... Напиши мне, голубчик, откровенно, какой характер у твоей желанной, — переведи ей это нежное слово «дезире». Участие матушек в сердечных делах ничего не значит, однако же подумай»...

Дезире — «желанная» — вернулась из Варшавы почти через год. За этот год Чайковский не получил от нее ни одного письма. Она уехала его невестой, во всяком случае, в вечер накануне отъезда она простилась с ним очень ласково. Но на следующий день, утром, с цветами и шутками, явился к ней Рубинштейн. Когда они остались вдвоем в гостиной, где уже были сняты со стен лавровые венки, он заговорил очень серьезно. Он в первый раз в жизни говорил о таких вещах с дамой. Николай Григорьевич, никогда не смущавшийся, при этом разговоре смущался. Арто уехала на вокзал в чрезвычайном волнении.

Вернулась она через год. Теперь она называлась Арто-Падилла. Месяц спустя после отъезда из Москвы она вышла замуж за известного баритона.

90

Падилла был очень красив и, как говорили, глуп. Они женились по страсти.

Чайковский слушал ее в том самом «Черном домино», которое он для нее обработал. Она опять сияла у рамп. Он закрывался биноклем, чтобы Кашкин не видел его слез, бегущих из глаз, падающих на манишку. Самолюбие его не было уязвлено, отчаяния тоже не было. Он плакал от волнения и, плача, испытывал острое блаженство. Ему даже захотелось опять встречаться с ней, опять посвящать ей музыку. И сладко терзаться подле нее...

Но Падилла намекнул через Альбрехта, что встречаться его жене с Чайковским теперь неудобно.

В первые месяцы разлуки с ней, когда от нее не было получено ни одного письма, у него не было ни времени; ни сил думать о ней постоянно, ждать, надеяться: постановка «Воеводы» отнимала у него все мысли. Триста рублей, ассигнованных дирекцией на постановку оперы, были израсходованы на жалкий ремонт каких-то старых дырявых декораций; Меньшикова, при всем старании, не могла постичь некоторых ансамблей, тенор накануне генеральной обнаружил на руке у себя карбункул и, теряя сознание от боли, едва не лежал в объятиях сопрано в некоторые моменты любовных дуэтов. Хор отказывался петь триоли, которые Чайковский заменил дуолями; капельмейстер требовал где-то перестановки духовых. Чайковский менял, кромсал, переставлял. Николай Григорьевич, придя однажды на репетицию и увидев измученное, покорное лицо его, только рукой махнул: разве можно быть такой тряпкой? Надо спорить, настаивать, требовать. Но Чайковский даже не ответил ему. Он ждал одного — чтобы все это скорее кончилось.

Это кончилось очень скоро: опера прошла всего пять раз и была навсегда снята с репертуара. Первое представление посулило, впрочем, успех — автора вызывали, Меньшиковой хлопали, не одна бутылка

91

была осушена в честь виновника торжества, ничего, кроме огромной усталости, не чувствовавшего. Но дальше успех не пошел. Не соразмерив выражений, Ларош, вышедший за этот год в музыкальные критики, напечатал отчет о «Воеводе». Там говорилось, что Чайковский *подражал подражателям* Мендельсона и Шумана.

Но не провал «Воеводы», не молчание невесты (Чайковский и сам чувствовал, как это слово мало подходит к Арто), не неудача с «Фатумом», посвященным Балакиреву, над которым Балакирев посмеялся, были причинами все растущей ипохондрии, *мизантропии*. Он уставал жить. Почему? Ведь он по-настоящему едва начал жить, а уже мечтал не жить, доживать, мечтал о тишине, о безмятежности, о неярких радостях. Он предчувствовал вечное свое одиночество, и что-то подсказывало ему, что ему легче будет справиться с ним вдали от людей, чем на людях. И неудачи творческие только больше заставляли его стремиться к творчеству, и как невозможный идеал ему, не имевшему возможности даже жить отдельно по бедности, мерещилось свободное от обязанностей и ответственностей существование где-нибудь — пусть под родным, пусть под чужим — небом, где он замкнется в себе, никого не подпустит близко к своей музыке, сам себе заменит весь мир.

Балакирев нашел «Фатум» «безобразной трескотней», а в Москве Юргенсон и другие приятели собирались предложить это название табачной фабрике для нового сорта папирос. Чайковский, вежливо улыбаясь приятелям и аккуратно отвечая Балакиреву, обещал всех «порадовать чем-нибудь новеньким»: петербургского деспота — новой симфонической поэмой,

непременно, как тот требовал, «на сюжет любовный, страстный, сердечный»; москвичей — приятными романами. Но с какой болью вырвались у него эти романы в ту осень!

92

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал...

Он пропел это в кругу юргенсоновских гостей, небольшим, но свежим своим голосом, аккомпанируя себе сам и, как всегда, несколько спеша. Оплывали свечи в канделябрах беккеровского рояля, бросая свет на его лицо, в котором он старался, в то время как произносил эти безнадежные слова, сохранить выражение спокойствия. «В России всякий мало-мальски благородный человек непременно сочинил хотя бы один роман», — говорил он потом, кланяясь дамам.

А симфоническая поэма — «страстная, сердечная» — кусками, темами, отрывками посылалась в Петербург, на суд Балакирева. Это он дал ему сюжет «Ромео и Джульетты». Опять она посвящалась ему, и он опять не был доволен.

Вместе с Бородиным Балакирев приезжает в Москву, и отношения его с Чайковским из приятельских стали дружескими — не слишком ли серьезными? — думал Чайковский, которого Балакирев немного утомлял своей резкостью, нетерпимостью, пристрастиями. Когда он уехал, Чайковский облегченно вздохнул. Но в ответ на посылку первых набросков «Ромео» опять закрипел — уже в письмах — настойчивый голос:

«Первая тема мне совсем не по вкусу. Она не представляет ни красоты, ни стиля. Что касается h-moll'ной темы, то это не тема, а очень красивое вступление в тему. Первый Des-dur очень красив, хотя гниловат, а второй Des-dur просто прелесть». (Наконец-то! Впрочем, Балакирев был равнодушен к Des-дур'ной тональности, он просто требовал иногда от людей Des-dur'a.) Но дальше опять: «Одно только скажу вам против этой темы: в ней мало внутренней душевной любви, а только фантастическое страст-

93

ное томление, даже чуть-чуть с итальянским оттенком».

Словом — не потрафил, надо опять менять. И Чайковский снова высылает в Петербург измененную партитуру; Балакирев требует вычеркнуть финальные аккорды (они, видите ли, играют в Петербурге без этих финальных аккордов и выходит куда лучше). А после уничтожения аккордов оказывается, что Балакирев все-таки советует подождать с печатанием партитуры и опять что-то исправить...

Холодный ветер дует между Петербургом и Москвой и студит безрадостную переписку. Чайковский начинает бояться, что ему, после всех этих советов, станет немило его последнее любимое детище. Но оно приносит ему начало славы: его играют в Москве, играют в Петербурге, и в первый раз музыка Чайковского раздается с эстрад Германии: летом, в Берлине, Чайковский продает право издания «Ромео» Боку.

От Николая Григорьевича, от безалаберной жизни, от его карточной игры и всей консерваторской шумихи уйти Чайковский еще не мог — не было достаточно денег на это, и все оставалось так, как установилось с первых месяцев совместной жизни: Николай Григорьевич вмешивался во все и тиранил; Агафон третировал; народ шатался в двух комнатах нижнего этажа, где оба фортепиано стояли день и ночь с поднятыми крышками. Ложились в доме поздно, вставали когда придется. Утром приходили посыльные: Николаю Григорьевичу цветы от поклонниц, записочки. По-прежнему вечерами собирались музыканты: уехал в Петербург Ларош, появился Губерт, теоретик, по прозвищу «красноносый» и «бородашка», — милейший, добрейший, что называется, симпатичнейший. Среди всего этого Чайковский работал — он полюбил самый жесткий, самый черный труд. Опять он начал оперу, писал мелкие фортепианные вещи, задумал струнный квар-

94

тет. И нагрузил на себя, после отъезда Лароша, критику в «Русских ведомостях».

Это вышло случайно, просто потому, что Кашкин был ленив и не удержался в газете, а уступать место неизвестному дилетанту не хотелось. Был сочинен псевдоним — инициалы «Б. Л.»

(«Бедв Лайцоргций» — правоведская кличка Петра Чайковского), и вместе с лекциями по теории музыки это стало необходимостью, обязанностью, пленом.

Но «Б. Л.», критик «Русских ведомостей», должен был подвести под свои критические позиции некоторое идейное и эстетическое основание, и, прежде всего, для самого Чайковского выяснилось неожиданно, но несомненно, что вопрос об итальянщине решен им бесповоротно: от буйного увлечения ученик Пиччиоли пришел к выводу, что это «явление антимузыкальное». Конечно, Верди не мог не поражать его иногда природным талантом; к Гуно он не перестал питать теплоты (Ларош уверял, что он сам есть среднепропорциональное между Гуно и Шуманом, и ему это было неприятно). Он восхищался голосами, замиравшими на до диез, но музыкой больше называть это не мог. А эта не музыка, вместе с модными американскими вальсами, просто душила Москву, и нужно было этой Москве, валом валившей на гастроли Патти, печатно говорить о достоинствах камерной музыки, о Шумане, Глинке и Листе.

Но именно эта Москва теперь окончательно стала ему родной — куда было ему деваться, если не жить здесь, в этом беспорядке, в этой тесноте? Отец медленно впадал в детство, братья, окончив училище, искали себе поприще, семья сестры все росла. Он был один, и только здесь в дымном воздухе музыкальных сборищ, в ресторанных кабинетах, у себя в комнате, мог иногда не бояться, что произойдет, наконец, что-то непоправимое, что его погубит. Друзей было немного, они не были гениальны, как были гениальны его петербургские приятели, но он был в их кольце.

95

Вываться! Эта мысль, это несбыточное желание все чаще начинали его томить. Вываться. Куда? Не все ли равно. Быть свободным, писать, оплакивать себя, молодость, грусть этой загадочной, страшной жизни. Писать. Радоваться какому-нибудь морю, какому-нибудь небу; любить мягкий свет лампы над уютным креслом. Где?.. Все равно этого никогда не будет. Будет лямка консерватории и «Русских ведомостей», черновик оперы, засыпанный пеплом папирос Николая Григорьевича, залитый его чаем... И вдруг — концерт весной 1871 года, собственный Чайковский концерт, приблизил его к самостоятельной жизни.

Тургенев опоздал к квартету, написанному нарочно для этого концерта, об «анданте» которого все говорили, что оно «чудо» и «прелесть». Тургенев не очень этому верил: он терпеть не мог новых русских композиторов, а с ними и живописцев. «Египетский король Рампсимит ХХІХ так не забыт теперь, как они будут забыты через пятнадцать-двадцать лет, — писал он Стасову. — Нашел самородок — Глинку, и радуйся, и гордись им, а всех этих Даргомыжских, да Балакиревых, да Брюлловых волна смоет и унесет вместе с песком и всяческой пылью».

Но на концерт Чайковского он прибыл (правда, с опозданием), потому что Рубинштейн уж очень уговаривал его: говорил, что Чайковский — исключение, что его нельзя смешивать с каким-нибудь Мусоргским, что он даже немножко похож на Шопена... И Тургенев поехал. В общем, он остался доволен: публика, на три четверти заполнившая в тот вечер Малый зал Благородного собрания, была «чистая», певица пела отлично, Николай Григорьевич сыграл две фортепианные пьесы, как всегда, боженственно.

Потом Тургенев отбыл.

Когда на следующее утро после концерта Чайковский проснулся, он подумал о том, что Москва его

96

знает. Впрочем, зал не был полон, и афиш было расклеено очень мало. Но Чайковский вслух повторил несколько раз: Москва меня знает. И это было ему приятно.

Около двух тысяч рублей он получал как профессор консерватории. Рублей пятьсот мог заработать в Музыкальном обществе, где за исполнение вещей с этого года начали платить. Несколько сот — как рецензент. Концерт придал ему смелости. Словом: он мог поселиться отдельно. Николай Григорьевич сперва и слышать об этом не хотел, но Чайковский нанял молодого слугу, нашел квартиру из трех комнат на Спиридоновке, повесил над роялем портрет Антона Григорьевича и зажил. Он купил у старьевщика полдюжины венских стульев, спал, как полагается, на диване. Он был у себя. Он мог никого не пускать и мог устраивать званые обеды, — из трактира, в судке, приносилась еда. Он мог, запершись, писать своего «Опричника».

Он оказался чрезвычайно расчетлив: в «Опричника» совал все, что попадалось под руку из прежних вещей: части «Воеводы», куски забракованной оперы «Ундина»; текст Островского мешал с текстом Лажечникова; получались неясности, музыкальные и сюжетные, — он словно делал опыт, лепил кое-как, чтобы посмотреть, что же из всего этого выйдет. После двухлетнего

труда он с сомнением несколько раз перечел написанное. Тщательно перебелив, он отправил рукопись в Петербург, новому человеку: это был Направник, капельмейстер Мариинского театра.

К новым людям его никогда не влекло, но он уставал от старых своих знакомых. Поселившись один, он попытался хоть как-нибудь оградить от них новыми знакомыми: сошелся с Кондратьевым, московским светским львом, баловнем женщин, богачом и «любителем всего изящного»; завел старика-шута из мещан, начиненного всяческими сплетнями и

97

историями; привязался к своему ученику, — из ученика ставшему другом, болезненному, музыкально одаренному Володе Шиловскому, и с ним, всегда неожиданно и таинственно, то исчезал к нему в имение, то катил ни с того ни с сего вдвоем за границу, среди зимы; а однажды уехал в Киев, где между Лаврой и Шато-де-Флер прошло несколько праздных дней.

Эта привязанность к Володе началась несколько лет назад. Володе было тогда четырнадцать лет, и в первый раз за границу их сопровождал Володин опекун. Чайковский давал мальчику уроки музыки. Учился он плохо, но в нем была «оригинальная прелесть манер». «Этот господинчик как будто создан для того, чтобы пленять и очаровывать всех и каждого», — писал о нем Чайковский. Но и Володя как-то безудержно, капризно и сразу привязался к своему учителю.

В летние месяцы, изменяя братьям, Чайковский несколько раз уезжал с ним и бывал счастлив подле него. Вспоминались блаженные дни в Швейцарии, где Володя ни на что не хотел смотреть и все требовал швейцарского сыру; потом был жаркий август в русском степном захолустье, где мальчик заскучал и пытался сбежать в Москву. Чайковскому всюду бывало с ним хорошо; иногда ему казалось, что Володя делается когда-нибудь большим музыкантом, но Володя ленился, лежал на постели с ногами, обутыми в щегольские сапожки, дразнил Чайковского мышами, которых тот боялся, и вслух мечтал о том, что было бы, если бы он родился две тысячи лет тому назад, римским патрицием.

А Направник все не давал ответа насчет «Опричника». Направник был теперь полновластным хозяином Санкт-Петербургской оперы, и Чайковский, после нескольких месяцев ожидания, решил сам съездить к нему.

Все это время он писал много и беспорядочно, но

98

главное, — почти не думая, не соображая, что выйдет из написанного. Писал он каждый день, чаще всего вовсе не прикасаясь к фортепиано, уставал, болел, но не сдавался. В Петербург он теперь вез вещь, которой был взволнован и горд, — это была Вторая симфония, с финалом из «Журавля», песни, напетой ему как-то в Каменке буфетчиком Давыдовых.

Метель мела в предрождественскую неделю, когда он приехал в Петербург. Никогда еще не возвращался он сюда с такими надеждами. Закутавшись в шубу, он сел в низкие извозничьи санки; остановиться он решил на этот раз не у отца, а в гостинице «Виктория». На завтра утром было назначено заседание оперного комитета, решавшего его судьбу.

Направник встретил его любезно. У него со всеми русскими композиторами были счеты: Римский-Корсаков когда-то печатно недохвалил его «Нижегородцев», на Кюи он был давно за что-то обижен, с Балакиревым им вдвоем было тесно в Музыкальном обществе. Чайковский скромностью своей его совершенно обезоружил, однако Направник не забывал напоминать ему о том, что хоть «Опричник» и принят (да, да, принят, только что принят!), — но когда пойдет и вообще как и с кем пойдет, — совершенно неизвестно. Чайковский благодарил, робел и, в конце концов, отправился вместе с Направником на оркестровую репетицию «Псковитянки», которой тот дирижировал. Никогда еще Чайковскому не приходилось видеть такой работы: в оркестре, доведенном с этого года Направником до семидесяти пяти человек, дирижер слышал решительно каждый звук и, не останавливаясь ни на мгновение, сдержанно, почти как автомат, продолжая махать своей палочкой, бросал то влево, то вправо:

— Вторая валторна: фа диз.

— Фаготы: ре бемоль.

— Басы: пиано.

И вниз, альтистам:

99

— У вас какая-то слышна *грезь*.

Вместо «я» говорил «е».

Итак, «Опричник» был принят, но «когда и с кем»?.. Это немного беспокоило. Во всяком случае, отца он этой новостью обрадовал. Илья Петрович спросил его о женитьбе: расстроилось дело с «желанной», может быть, есть в виду другая? Чайковский постарался собраться с мыслями, припомнить все то, что обыкновенно говорил в таких случаях: получаю хоть и достаточно, но по безалаберности вечно в долгах. А если еще дети будут?.. Илья Петрович сокрушенно помолчал. Потом поговорили о болезнях. Чайковский пожаловался отцу на расстроенные нервы. Но у кого из нынешнего поколения не расстроены нервы, да еще из артистов?

Илья Петрович согласился и с этим.

Братьями он был недоволен, но счастлив, что видит их. Взрослые люди. Толяша — красавчик. И уже тысяча женских историй. Разбивает сердца, да и сам попадает, и каждый раз «навсегда», «до гроба». Изнывает на службе в министерстве юстиции, но, вероятно, сделает карьеру. А вот Модька, Модька — худ и желт, грызет его что-то. Хочет, кажется, быть писателем. Прямо несчастье! А кто знает, может, и есть в нем талант? Пока во всем подражает старшему брату — даже в мизантропии. Успел перезнакомиться со всеми петербургскими музыкантами... художников знает... Но на вечер, устроенный Римским-Корсаковым в честь приезда Чайковского, Петр Ильич его с собой не берет.

Он едет один, волнуясь, радуясь, держа под мышкой клавир Второй симфонии. Сейчас он увидит их всех. Сейчас они услышат его.

Его, конечно, встречает в передней сам хозяин. Корсинька недавно женился. Жена его — прелестная умница, музыкантша. 1 января — премьера «Псковитянки». Словом — Корсинька счастлив, сияет. Он повзрослел. Он входит в славу. Чайковский идет в

100

гостиную. Слишком их много сразу, этих любопытных глаз.

Балакирев изменился немного, похудел, постарел. Ах, да, Модест что-то говорил о том, что Балакирев не тот, что он стал очень религиозен и собирается отойти от музыки. Но об этом лучше не спрашивать. Бородин. Какой очаровательный, какой пленительный человек, сколько невыраженной симпатии к нему у Чайковского, несмотря на кислую когда-то рецензию Бородина о нем. Но вот с этим примириться нельзя — Мусоргский, шут, паяц!.. Они вежливо жмут друг другу руки. Чайковский не знает и никогда не узнает, что Мусоргский называет его за глаза «садык-пашой».

Стасов подробно рассказывает о последней ночи Даргомыжского, Чайковский в подробностях не знает этой смерти. В тот вечер в первый раз в Музыкальном обществе под управлением Балакирева исполнялась симфония Бородина Es-dur. В первый раз — Бородин перед большой публикой. Вы представляете, что с нами со всеми было! Да и вещь-то какая! Капитальная! Тузовая!.. А Дарго бедный не мог с нами быть на концерте. Он лежал и ждал, волнуясь ужасно: как все сойдет? Как публика примет? Ждал, что кто-нибудь из нас, — или все, гуртом, — явятся с концерта рассказать ему, чтобы умереть спокойно. А мы побоялись его беспокоить. Нет, вы подумайте, мы до дому его дошли и повернули, думали, он спит. А он-то ждал, он-то томился. Он-то всю ночь слушал, не будет ли звонка на парадном... А к утру он умер. Так ничего и не узнал.

Разговор становится общим: и о Направнике с его новшествами, и о Тургеневе, который недавно, будучи в Петербурге, просился к Балакиреву в гости «экзаменовать» петербургских музыкантов. Ну мы, конечно, этого не допустили: после того, что он написал о всех нас в «Дыме», неизвестно еще, можно ли ему кланяться... Тут и расспросы: что Чайковский

101

привез с собой, и поздравления по поводу принятия «Опричника». «Садык-паша» садится за фортепиано. «Тут, в конце, вы заметите, есть народное...» (В памяти мгновенно: Каменка, буфетчик, смешной мотив «Журавля»: тара-тара, та-та-та. Та-ра-та-ра, ти-та-та.)

Мусоргский, несмотря на угрожающий взгляд Корсакова, выходит слушать Чайковского в соседнюю комнату.

...Опять ночь. Метель. Извозчичьи саночки. Чайковский едет домой. Был взрыв восторга, объятия, пожимание рук, провозглашение его, за финал, за «Журавля» — первым музыкантом России (после них, пяти, конечно). Было горячее прощание. Стасов обещал прислать в Москву тему новой симфонической поэмы...

Как они все молодые, даже те, что старше него! Как они бесстрашно глядят в будущее. Какие вокруг них милые, умные, понимающие женщины. Дружба. Любовь. Вера в себя. Бесстрашие.

Ничего этого у него нет. Молодости не осталось вовсе. Одиночество. Незнание. Страх, постоянный, леденящий страх за свое доброе имя. Холод жизни, который не с кем разделить. Одиночество.

«Суд людской»... К тому времени, когда Чайковский из склонного к сочинительству преподавателя консерватории, из случайного музыканта, сделался композитором, вещи которого игрались в России и за границей, композитором, изо дня в день, вернее — из ночи в ночь, пишущим музыку, издающим все, что выходит из-под пера, дающим концерты из своих произведений, ставящим оперы на Императорских сценах и тяготящимся всем, что относится к разряду обязанностей, мешающих творчеству, — к этому времени, неизбежный, в ответ на его музыку, зазвучал и суд людской: суд близких, подчас бесцеремонных тупиц, и суд далеких, чужих, лукавых, суд друзей и суд врагов. Он знал, что этот суд, при всей его

102

поверхностности, несправедливости и черствости, будет его преследовать вечно, как преследует он всех, кто выносит свои творения на свет Божий — из того тесного и бедного чердака или уютного кабинета, где они создаются. Суд людской не был к нему снисходителен, и, странно сказать, этот суд был почти всегда коварен. Друг, Ларош, в глаза пророчивший ему несколько лет бессмертия, в печати уничтожил его «Воеводу»; Цезарь Кюи, много раз печатно отзывавшийся о нем насмешливо, а иногда и грубовато, при встрече в Петербурге непременно шептал ему какой-нибудь комплимент:

— Это прекрасно! Это еще страстнее, чем мой дуэт в «Ратклифе»!

Антон Григорьевич, Балакирев в лицо иногда приходили в восторг от каких-нибудь трех тактов, а потом, за спиной, выяснялось, что они «ничего от него не ждут». Анонимная критика бывала иногда резка до неприличия. «Я не Антон Рубинштейн, — говорил тогда Чайковский, — я не могу не огорчаться, когда меня ругают. Я еще не так велик».

Был человек, от которого зависел суд людской в Москве, — это был Николай Григорьевич. Славу Чайковского он держал в крепких и властных своих руках. Он не требовал от Чайковского таких переделок, которых несколько лет тому назад требовал Балакирев («Эту тему непременно в *Des-dur*, а в конце не пиано, а непременно пианиссимо»). Он уже не «учил» его, как в первый год их совместной жизни. Сейчас его указания касались только формы сочинений: («Этого нипочем не сыграть». «Такого в арфах и дать невозможно, это ты, брат, заврался!») — и вообще к середине семидесятых годов Николай Григорьевич принимал почти все с большим сочувствием и играл Чайковского, и дирижировал его музыкой, где только мог.

Но бывали дни, когда он, встав с левой ноги и накричав на Агафона или Григория, консерватор-

103

ского швейцара, чувствуя горечь во рту от вчерашнего шампанского, рассмотрев в зеркале новые морщины на несвежем, усталом лице, злясь на крупный ночной проигрыш, вдруг обрушивался на кого попало, да еще непременно при свидетелях, так что выходило вдвойне обидно. Да, я мнителен, думал про себя Чайковский, да, я очень мнителен. Но побороть себя не мог, и в тот день, когда при Губерте Николай Григорьевич распекал его за «невозможность», за «карикатурность» его фортепианного Концерта, Чайковский снял с этого концерта свое посвящение Рубинштейну и на долгое время даже Николая Григорьевича почувствовал врагом.

Чайковский был мнителен. Про себя он знал, что труслив, подозрителен; но жизнь сделала его таким — сплетни, шелестевшие о нем по городу, лай музыкальных рецензентов, подымавшийся после каждого его произведения, рецензентов, упрекавших его то в слишком слепом подражании классикам, то в недостаточном знакомстве с ними. Кривые усмешки после Второго квартета, сокращения, сделанные Направником в «Опричнике», щелчки, полученные за «Бурю» — вещь, на которую навел его Стасов и которую он писал в недели счастливого одиночества, в имении Шиловского, — все это обостряло хандру, иногда доводило до отчаяния. А главное — в самом себе все было не так уж гладко: в «Опричнике» он разочаровался еще на репетициях, а опера делала теперь полные сборы в Петербурге, не сходила с репертуара в Киеве, ставилась в Москве. Неужели он написал эту музыку без мастерства, без стиля и вдохновения? А публика слушает, и хлопает, и вызывает автора, у которого одна мечта — бежать; бежать от этого успеха, от непонимания того, что он считает в себе лучшим, от врагов, от друзей, от Москвы, пуститься в поиски чего-то, чего он еще не может назвать. Ему хочется того, чего еще никогда не хотелось так сильно и чего никогда у него не было даже

тени: прочной привязанности. Но нет, ему нельзя и думать об этом.

Он бросился в Италию. Ни Венеция, ни Рим его не успокоили. Они показались ему самыми мрачными на свете местами. В Неаполе он целыми днями лежал и плакал у себя в номере гостиницы. Скорей домой, скорей назад, там, может быть, еще что-нибудь можно поправить — написать новую оперу, заставить себя забыть о старой; там все-таки — может быть, он просмотрел? — есть люди, которые согласны разделять с ним его тоску. Брат Модест... Нет, при первой же встрече он почувствовал, что перед ним двойник, не больше. Двойник — не друг.

«Меня бесит в тебе то, что ты не свободен ни от одного из моих недостатков — это правда. Я бы желал найти в тебе отсутствие хотя бы одной черты моей индивидуальности, и никак не могу. Ты слишком похож на меня, и когда я злюсь, то в сущности злюсь на самого себя, ибо ты вечно играешь роль зеркала, в котором я вижу отражение всех своих слабостей».

Но сдаваться он не хотел, он хватался в те годы за все, что только могло спасти его от него самого: его выносливость в работе помогала ему, музыка его охраняла, все остальное — предавало. Новую оперу «Кузнец Вакула» он написал на конкурс, объявленный в Петербурге, и на этот раз он сам себя не обманул — он был собой доволен. Но люди, после ссоры уводимые от него Николаем Григорьевичем, отдалялись от него, и если он и не жалел о прежнем с ними братстве, то трудно было привыкнуть к полному одиночеству. Стало ясно: связывает с ними только служба, и от этого служба начала тяготеть вдвойне.

Все настойчивее возвращалась мечта об уходе из этого бесплодного шума, из этой назойливой пестроты. Мечта превращалась в навязчивую идею: если нельзя того, чего хочется, если невозможно изменить, сломать вокруг себя эту раму несчастливо скле-

105

енной жизни, если так и не удастся преобразить жизнь, — то стоит ли жить? Если в жизни никто его не полюбит — беззаветно, самозабвенно, бессмысленно, — то надо умереть.

А дома все было то же: Алеша, молодой слуга, терпеливо, по пять раз в ночь, носивший ему чай, собака Бишка, сомнительная левретка, спавшая часами на его коленях и по несколько раз в год рожавшая непременно по шести щенят, раскрытая страница Геродота, биография Моцарта на круглом столе, покрытом вязаной скатертью (подарок тетушки), старый шут Бочечкаров с усыпительными рассказами о старине, иногда, по воскресеньям, приход консерваторских учеников, вялых, почтительных, среди которых в зиму 1875-го года вдруг появился юноша больших способностей, серьезный, с несколько бабьим выражением круглого лица — Сережа Танеев.

Он смотрел на Чайковского с восхищением, любил его музыку, любил его беседу — как с равным. Танеев был для московского музыкального мира человеком новой складки: композитор, с превосходной фортепианной техникой, он, однако, не давал волю своим вдохновениям: все свое время он посвящал решениям контрапунктических задач, мечтал написать учебник правильного употребления педали, часами мог сидеть с карандашом в руке над немецкими контрапунктистами. Его скопческая фигура, внимательные глаза приносили с собой что-то уютное, его голос иногда держал Чайковского на грани скуки. Но «милый Сережа», «милый друг Сережа» стал с этих пор какой-то необходимостью для умственных упражнений Петра Ильича — как в обстановке его квартиры необходимостью было само фортепиано.

Пусть Сережа поклонялся Баху и Генделю, а Петр Ильич «обожал» Бизе и Делиба, но в столкновении мнений, при котором Чайковский никогда ничего не мог доказать, а Сережа необыкновенно устойчиво и логично развивал свою речь, они всегда понимали

106

друг друга. В их жизни тоже, как и во вкусах, было мало общего: Сережа, окруженный мамашей и нянюшкой, которые заменяли ему все остальные привязанности и страсти, болеющий (взрослым молодым человеком) то свинкой, то ветряной оспой, и Чайковский — как раз в первые годы своей с ним дружбы, — переживавший самую темную, безвыходную полосу жизни. Один, ни в чем еще не усомнившийся, и другой — потерявший остатки душевного покоя, — таковы были они оба, почувствовавшие потребность друг в друге. И Сереже решил Чайковский посвятить свою «Франческу да Римини», пришедшую ему в воображение в вагоне поезда, увозившего его летом в Байрейт.

В Байрейт, на первое представление «Нибелунгов», он ехал не только как русский композитор, он ехал как музыкальный репортер «Русских ведомостей», — после Байрейта он решил прекратить свои критические писания навсегда, он понял особенно остро на вагнеровских представлениях, насколько не способен быть настоящим критиком. Он с первого часа своего пребывания в городе и до той минуты, как уехал из него, был оглушен, ошеломлен тем, что видел и слышал. Начать с того, что люди ночевали прямо на улицах и вовсе не обедали, так как не хватало еды даже для трети приезжих. Питались кофе и хлебом. Знакомых были тучи — вся Москва, весь Петербург. Накануне первого представления «Золота Рейна» в разукрашенный флагами город прибыл Вильгельм со своей свитой, народ нес потоком его коляску и коляску самого Вагнера, насмешливо улыбавшегося тонкими, старческими губами. Здесь был Лист, высоко несший свою седую красивую голову, и все немецкие музыканты. Целая ярмарка шумела вокруг театра, пока не начались представления.

Представления шли в переполненном театре с четырех до десяти часов вечера ежедневно, в дни палящего августовского зноя. В этой жаре, в тесноте,

107

в отсутствии питья и еды и даже крова было что-то библейское. Все, что происходило, было необыкновенно, начиная с оркестра, сидевшего «в яме», то есть ниже партера, и кончая финальными тактами «Гибели богов». Разобраться в этой музыке не было для Чайковского ни малейшей возможности, надо было проиграть ее самому, прослушать хотя бы три раза, чтобы понять ее. Она утомляла, изнуряла, поражала, не этого искал он в музыке. «Валькирия» вывела его из себя. «Неужели этой претенциозной, тяжеловесной и бездарной дребеденью будут наслаждаться грядущие поколения, подобно тому, как мы теперь наслаждаемся 9-й симфонией, в свое время признававшейся тоже чепухой?» — писал он. Трудно ему было для читателей «Русских ведомостей» составить байрейтский отчет — разбитый телесно и растревоженный духовно, он вернулся в Россию. Кое-что в Байрейте было приятно: внимание к нему Листа; обращение с ним немецких музыкантов, знавших его не только по фамилии... Но состояние его было ужасно. Модесту, первому, написал он осенью о своем решении: оно было неожиданно, но бесповоротно.

«С нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что мои склонности суть величайшая и непреодолимейшая преграда к счастью, и я должен всеми силами бороться со своей природой. Я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю навеки свои привычки. Разве не убийственная мысль, что люди, меня любящие, могут иногда стыдиться меня. А ведь это сто раз было и сто раз будет... Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинить огорчения людям, мне близким... Я так заматерел в своих привычках и вку-

108

сах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да притом я далеко не обладаю железным характером, и после моих писем к тебе уже раза три отдавался силе природных влечений...» Приближался 1877 год.

VII

Этот год — так решил про себя Чайковский — должен был в корне изменить его жизнь. «Вакула» «торжественно провалился» на сцене Мариинского театра, лямка консерватории становилась все тяжелей. Деньги приходили и тотчас же уходили, их никогда не хватало; время бежало. Ему становилось невыносимо с людьми и подчас невозможно одному. А людей, особенно таких, которые от него требовали усилий в разговоре, он совершенно перестал выносить.

Ему самому стало совестно, когда однажды, идя по улице и увидев издали Льва Толстого, он юркнул от него в подворотню и проходным двором вышел на другую улицу незамеченным. Это было вскоре после концерта, данного консерваторией нарочно для Толстого, чтобы тот мог услышать музыку Чайковского, — Толстой не раз просил об этом Николая Григорьевича.

Григорий, консерваторский швейцар, не пропустил Толстого в зал — он был в валенках. «Пойди, голубчик, доложи Рубинштейну: «Толстой пришел». Но Григорий, легонько тесня «почтеннейшего», ни за что не соглашался доложить и собирался выпереть его за дверь. По счастью, кто-то заметил эту сцену, кинулся с поклонами и извинениями, и Толстого провели в

первый ряд. В тот вечер игрался тот самый первый квартет, на который когда-то опоздал Тургенев. Когда заиграли анданте, Толстой не мог удержаться слез, и они потекли мелко и быстро по его

109

лицу. Чайковский сидел рядом; от волнения затылок его стал совсем красным. Он знал это свое свойство — краснеть затылком — и от того, что это знал, волновался и смущался еще сильнее. Да, Толстой был тронут, Толстой, пронзительно глядя на него еще мокрыми глазами, благодарил... А теперь, месяц спустя, Чайковский уже бегал и от него, боялся, что опять, как тогда, придется поддерживать спор о том, что Бетховен глуп, что русский мужик музыкальнее Моцарта... Он малодушно предпочитал восхищаться Толстым на расстоянии.

Он бегал от Толстого, сказался больным в день семейной елки у Альбрехта; Николай Григорьевич, кажется, слегка разочаровался в нем за этот год — и слава Богу! Сестре и отцу он намекал в письмах, что устал жить один и, наконец, признался в том же Кашкину: он так и сказал ему: Я ищу пожилую женщину, не претендуя на пылкую страсть... И Кашкину в ту минуту — он сам не понял, отчего, — вдруг, до слезного узла в горле, стало жаль Чайковского.

Пусть, пусть это наконец свершится! Так надо. Так делают все. Ну что ж, если немного нарушится эта рабочая тишина квартиры, где Алеша перетирает чайные стаканы, где, сочиняя, Чайковский громко поет, где блохастая бегают Бишка, где ночью не спится, и вот он встает и пишет — пусть все это кончится! Иногда «мороз по коже дерет» при одной мысли о «прекрасной незнакомке», с ее шпильками, корсетами и, наверное, — громким голосом да любовью выезжать в свет. Ничего. «Образуется». «Анна Каренина» печатается в «Русском вестнике» и теперь это — модное слово. «Образуется», *хуже ведь не будет*. Пусть только *она* не будет слишком молода и прекрасна, пусть только не будет слишком пылка... А главное — с ней рядом не так будет страшно: смотрите, скажут все, вот идет приличный человек, женатый человек, может быть, даже скажут — семейный человек, не бродяга какой-нибудь, не преступник, не

110

больной — совершенно обыкновенный человек. Как все, да, да, как все!

И, может быть, когда-нибудь, она спокойно и преданно взглянет на него, ничего от него не требуя, может быть, когда уж очень станет немощным — скажет ему что-нибудь или пожмет ему руку, как друг единственный и бескорыстный. Он больше не может так жить. Он плачет по десяти раз в день. Ему страшно, никто в мире не знает, как ему страшно...

Какую-то свою несовершенную любовную тревогу, обращенную ни к кому и сразу ко всем, когда-либо мелькавшим в его страстных помыслах, какой-то адский вихрь круживших его желаний он перенес в «Франческу». Многие говорили, что ему лучше, нежели все иные чувства, удастся в музыке любовь. Он и сам начинал это думать. Почему это было так? В романсах, в «Ромео» и вот теперь он с дикой силой изливает свое любовное отчаяние, он, никогда по-настоящему полно не любивший, никогда не знавший, что значит быть счастливым вдвоем. И люди, обыкновенные, довольные жизнью люди (и которыми, в свою очередь, была довольна жизнь) наслаждались романсами, «Ромео», «Франческой», в которых он, потрясенный не по-ихнему, отчаявшийся, отзывался как мог на то, что было в мире самого таинственного и прекрасного, и чего он никогда не знал. Многие теперь наслаждались его музыкой, кое-кто из молодых, из консерваторских учеников, из юных певиц и пианистов, поклонялся ему; в январе месяце появилось одно имя, одна тень, обожествившая его.

Так начался 1877 год.

Ему был передан краткий заказ на несколько фортепианных переложений. За этот заказ была прислана щедрая плата. Котек, скрипач, был посредником в этом деле. Таинственное имя было Надежда Филаретовна фон Мекк. Вдова богача, железнодорожного строителя, миллионерша, владелица домов в Москве, поместий в западном крае, приморских

111

вилл за границей; мать одиннадцати детей и уже бабушка. Рубинштейн между прочим сказал Чайковскому, что она некрасива, стара, оригиналка ужасная... В доме у нее много музыки... Первое ее письмо было кратко и смело:

«Милостивый Государь Петр Ильич!

Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее».

Он ответил тоже кратко и вежливо. Спустя два месяца она написала опять:

«Хотелось бы мне много, много сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне, как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй, даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренне, да и так основательно».

Эти строчки ему чудовищно польстили. А еще через месяц она попросила позволения издать за свой счет его переложения у Юргенсона, писала, что Вагнер перед ним «профанатор искусства», что его «Марш» приводит ее в «сумасшедшее состояние», что он — ее идеал и что если бы у нее в руках было счастье, она отдала бы его ему.

Сквозь него, которого она не знала и знать, каза-

112

лось, не стремилась, она обращалась к его музыке. Теперь был на свете человек, которого все, что Чайковский до сих пор написал, приводило в трепет восхищения, человек, который с неизъяснимым волнением ждал от него новых шедевров и, что бы он ни написал, знал, что не будет обманут. В первых же письмах она дала ему понять, что он ей не нужен — что она не требует его прихода и даже не ждет встреч с ним. Им незачем быть знакомыми. Это может повести к пересудам.

Ей нужно немного: утром, когда она просыпается, первая мысль и забота ее — о нем. Пусть на подносе, среди писем, которые приносит ей дворецкий, будет иногда письмо и от него, чтобы прежде, чем пускаться в управление своим государством, она бы знала, что тот, кто дает ей такую радость, такое неизъяснимое блаженство (от которого она иногда чувствует, что сходит с ума), — жив, здоров, где-то дышит, — далеко ли, близко ли, но в одном с ней мире, и что душа его покойна.

А государство, которым она управляла, было громадно, сложно и пестро: муж ее, выстроивший Либаво-Роменскую дорогу, умер, оставив огромные дела в беспорядке; в имении ее, богатейшем и роскошнейшем в крае, ткалось полотно, кружились мельницы, дымили свеклосахарные заводы. Она была коллекционершей, она содержала в доме трио молодых музыкантов, она, наконец, поднимала детей: от старших у нее уже были внуки, младшие — с гувернерами, домашними учителями, боннами, няньками и целым штатом прислуги жили при ней.

Было время — еще год назад — она выезжала в свет и принимала у себя. Ее считали самодуркой. Она была худа, высока, очень умна и нервна. Чайковский вспомнил, что несколько раз видел ее на концертах — в слишком ярком, не шедшем к ней золотом платье, расшитом зелеными павлинами, зеленый павлин был приколот у нее к высокой, тяжелой при-

113

ческе. Он вспомнил даже, что однажды сидел в соседней ложе, и к нему доносился запах неприятных и сильных ее духов. Но черт лица ее он в точности не запомнил. Ее маленькие некрасивые руки лежали на коленях, сложенные по-старушечьи, она срывала с себя перчатки, как только входила куда-нибудь, — приличий соблюдать не старалась.

Теперь все это возникало в памяти. Впрочем, не это было важно. Важно было, что она стара, щедра, что она не требует его к себе. Над ним внезапно раскрылось теплое, широкое крыло, куда ему можно было укрыться. Для этого не надо было делать никаких усилий: крыло само простиралось над ним.

В ответ на ее письма, он 1 мая попросил у нее взаймы три тысячи рублей, для расплаты с кредиторами. И написал, что решил ей, лучшему своему другу, посвятить Четвертую симфонию. Он чувствовал, когда писал, что есть как будто какая-то нехорошая связь между этими деньгами и этим посвящением. Но Надежда Филаретовна связи не почувствовала. Она немедленно послала ему деньги — для нее это была ничтожная сумма. Она благодарила его за доверие. Посвящение же Четвертой симфонии было для нее таким счастьем, что у нее от волнения слабело сердце,

когда она об этом думала. И разве когда-нибудь она сможет хоть как-нибудь его отблагодарить? *Дружба* с ним! «И больно и сладко» становилось при мысли об этой дружбе. Она вставала с кресел, начинала долго ходить по комнате. Тогда горничная уносила сонного мопса. Она сжимала руки на груди, она ломала свои некрасивые, короткие пальцы, и глаза ее, глубокие, темные, неженские глаза, блестели и сверкали под густыми бровями. Незамужняя дочка ее, Юлия, не первой уже юности, заведовавшая в доме хозяйством, слушала эти мерные шаги «мама» и боялась, как бы не разболталось у «мама» сердце. А на пюпитре концертного рояля, стоявшего тут же, в ее гостиной, день и ночь лежал раскрытый

114

романс «И больно и сладко...» Вечерами иногда она просила Юлию петь его. После ужина доктор прописал ей полчаса сидеть неподвижно. Тогда подвели к ней внука прощаться перед сном (она не позволяла целовать себе руку). Ночью, когда весь дом спал, она сидела у себя на постели, в чепце, при ночнике, задыхаясь, перебирала свое страшное, необъяснимое, от всех тайное чувство к незнакомому человеку, о котором шел слух, что он не любил ни одной женщины, что он от природы так создан. Она кусала подушку, клялась самой себе, что никогда не призовет его, бормотала глухо, что если есть Бог, этот человек сам придет к ней. Она может ждать долго, очень долго.

Но это бывало в тяжелую бессонницу. Днем, когда приходил управляющий с делами, когда подавались письма и газеты (война с Турцией, политические события во Франции), когда в мыслях были заботы: одна дочь беременна, другая только что родила, старший сын тратится на цыганок, другой — держит экзамены в Правоведение, у маленьких — корь; когда в мыслях были заботы, и собственное нездоровье (ежемесячные трехдневные нестерпимые головные боли), и случайные радости — от тех же дел, детей, путешествий, музыки; когда все это, вместе с солнцем на небе, вставало с утра в ее жизни, мысль о Чайковском делалась такой же ласково-суетливой, как мысль о младшей дочери, о пятилетней Милочке, или о двух малышах, розовых от коревой сыпи. Где он? Здоров ли? Не слишком ли на него надавила жизнь с кредиторами, консерваторией, всевозможным (она догадывалась) мелким сором обид и тревог? О чем он думает, что пишет, дорогой, родной, несравненный друг? Помнит ли он о ней, о той, на которую в случае чего можно опереться? Верит ли ей? Верит ли своей свободе? Нет, никогда она не отнимет ее у него, если он сам не захочет прийти к ней, она его не позовет. Ей сорок пять лет, жить,

115

может быть, осталось не так уж много, но она будет ждать, пока будет дышать.

Она долго шагает по комнате. И Юлия говорит, входя:

— Милая мама, у вас заболит сердце.

VIII

Он сидел в своем старом ватном халате и писал. Этот халат он очень любил, привык к нему, к его теплоте запаху, смешанному с запахом сотен и тысяч в нем выкуранных папирос. Кроме Алеши никто никогда в нем Чайковского не видел; одевался он щеголевато; по утрам, когда менял рубашку, ваткой, смоченной одеколоном, проводил по шее и ушам, а в последнее время, с тех пор, как начал лечить нервы холодными ваннами, прыскался после ванны лавандой. Он холил руки, белье покупал не штуками, а дюжинами, раз в месяц подстригал бороду. И все-таки, несмотря на эту тщательность, с которой обращался со своей внешностью, ему и во фраке можно было дать лет на пять, а то и на десять больше, чем было на самом деле: он быстро седел, ширился в плечах, в лице появлялась постепенно серьезность, неподвижность, важность.

В халате, с голой шеей, нечесаный, с опухшими веками он по утрам в тридцать семь лет смотрел стариком.

В тот день он встал поздно, спал, однако, мало. Накануне день прошел с тем утомительным однообразием, которое в последнее время доводило его до тайного бешенства. Утром — пробуждение, в неопишемом отчаянии, слезы, валерьянка. Потом лекции, крик Николая Григорьевича по ничтожному поводу — на преподавателя, ученика, швейцара. Завтрак у Альбрехта. Съел огурец, и воспоминание об огурце преследовало до ночи: огурцы он не пере-

116

варивал. Кроме того — литовская водка, которую он за эту зиму полюбил так, что дня не мог прожить без нее. Днем, когда в голове шумело, в ногах была тяжесть и хотелось лечь носом к стенке и тихо стонать, пришел Танеев, с которым был опять длинный разговор о том, что «преступно делать ход параллельными квинтами», и еще о чем-то в этом роде. Когда Танеев ушел, он задремал. Проснулся в поту, кликнул Алексея. Пора было ехать обедать. В Большой Московской (нет, никаких денег не хватит на эдакую жизнь!) человек пять «закадычных» приветствовали его. Поросяенок с кашей тяжело лег на его желудок.

Ночью он писал и плакал.

Начинавшийся день обещал быть в точности схожим со вчерашним. Это была суббота. В этот день ему подали письмо — любовное письмо от совершенно незнакомой ему особы.

Между завтраком и сном он ответил ей. Любовные письма он получал очень редко и уж никогда на них не отвечал, но на этот раз ответить он почему-то счел необходимым: девица писала, что иногда встречает его, но не смеет подойти; что она чувствует, что любит его, что никогда до этого, никого не любила, что без него не может жить. Что она — вполне порядочная девушка. Он поблагодарил ее за ее сочувствие его музыке, любовь пропустив мимо ушей.

К вечеру он почувствовал, что сделал не совсем то, что должен был сделать. Ночью, впрочем, он уже не помнил об этом.

Второе письмо Антонины Ивановны Милюковой пришло через несколько дней, оно было длиннее первого, и, прочтя его, Чайковский пошел спросить Лангера, преподавателя консерватории (его класс помещался в том же коридоре), не помнит ли он такую-то, и что она за особа? Антонина Ивановна писала, что год тому назад она училась у Лангера, что она — музыкантша.

117

Но Лангер долго перебирал в памяти своих бывших учениц, пока вспомнил Антонину Ивановну. Он посмотрел на Чайковского пристально и затем сказал:

— Вспомнил. Дура.

Антонина Ивановна музыкальным талантом, видимо, у Лангера в классе не отличалась.

На этот раз Чайковский ответил ей короче и суше. Потом Лангер сказал, что девица была смазливенькая.

Антонина Ивановна писала (почерк у нее был детский, знаков препинания она не ставила):

«Я вижу, что пора уже мне начать себя переламывать, что Вы и сами упомянули мне в первом письме. Теперь, хоть я и не вижу Вас, но утешаю себя мыслью, что Вы в одном со мной городе. Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить Вас. То, что мне понравилось в Вас, я более не найду ни в ком, да, одним словом, я не хочу смотреть ни на одного мужчину после Вас...»

— Алеша! — крикнул Чайковский, прочтя это.

Алексей сейчас же опустил шторы на окнах и зажег свечи. Чайковский любил из утра делать вечер. Поднятых штор (в окне — зелень деревьев и чирикание воробьев) ему иногда бывало страшно. Он попросил Алешу держать его за руку, пока припадок не прошел. А ведь если здесь в квартире, окажется женщина, хозяйка, то стыдно, пожалуй, будет и этого страха и этой потребности в Алеше. И если она захочет ночью спать, то нельзя будет громко петь, сочиняя, и еще многого другого нельзя будет делать... Впрочем, надо успокоиться. Ведь никто еще насильно не женил его.

Опять начинался день: в консерватории — первый день экзаменов. Консерваторию он теперь ненавидит всеми силами души, ему кажется, что если бы не консерватория, он бы писал... что бы он писал? Четвертую симфонию он заканчивает; для оперы нет

118

сюжета. Днем, в гостях у певицы Лавровской, он жалуется, что не на что ему писать новую оперу — и сам не рад: гости и хозяева предлагают ему такие сюжеты, от которых начинает ныть в душе. Хозяйка, между прочим, уверяет его, что «Евгений Онегин» мог бы ему пригодиться. Он уходит усталый, взволнованный, идет в ближайший трактир и там заказывает себе бараний бок с кашей, моченых груздей на закуску.

Трактирный орган играет вальс Штрауса, попури из «Травиаты». Завсегдатаи — разночинный люд: маркеры, чиновники, приказчики — едят, и пьют, и слушают музыку. Лакей, наверное, принимает его за учителя; в старости, лет через десять, когда он побелеет и еще увеличится эта плотность в спине и плечах, его будут принимать за профессора. Написать бы что-

нибудь чудесное, грустное, ясное и непременно, конечно, русское... Оставим на время в покое Шекспира и Данте. Написать бы что-нибудь простое и прекрасное: как люди живут на свете, как любят друг друга, как разлучаются... Он вспоминает гостиную Лавровской. «Евгений Онегин»? Нет, не то! Впрочем, надо бы достать, перечитать; там, кажется, в письме Татьяны, есть удивительные строчки: что-то вроде:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.

Это похоже на что-то... Ах да! Антонина Ивановна. Почему она совершенно не ставит запятых? Училась же она в институте.

Он заказывает крепкий чай с лимоном и коньяком. Там еще, кажется, было такое место:

Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души.

Конечно, «пустое». Он — не Онегин. У него мог бы быть такой сын, как Онегин. У него мог бы быть сын?

119

Лучше не думать об этом. Но Пушкина надо бы все-таки достать.

Он пил большими глотками, и чай, и коньяк, глядя перед собой, и память теперь уже сама возвращала ему забытые строчки, которые он в училище когда-то зубрил наизусть и над которыми плакал Апухтин. Память слала ему какие-то канувшие образы, и от этих образов к нему то поднималась, то спускалась лестница каких-то звуков, минутами его заполняла какая-то новая сладостная гармония, знакомое удушье наплывало на него...

— Счет!

Он надвинул шляпу на глаза, накинул крылатку, задев тростью стулья, вышел на Тверскую.

Был вечер. Магазины закрывались, зажигался газ. Надо было во что бы то ни стало достать Пушкина, а там видно будет. Дома книг почти не было: любимый Отто Ян — «Биография Моцарта», Стендаль, два десятка случайных исторических книг... А вот Пушкина у него не было никогда. Но магазины закрывались быстро, один за другим. Он дошел до Кузнецкого моста. Мальчишка у Вольфа запирает железный ставень.

Пушкина вынесли ему через черную дверь, он дал рубль на чай, на него посмотрели как на сумасшедшего. Извозчик повез его домой. Там его встретил Алеша. «Не буду ни спать, ни ужинать, буду пить, буду читать». И он запер дверь своего кабинета.

Он читал медленно и долго, с какой-то счастливой страстью сдерживая себя, чтобы не перескочить через наизусть знакомую строчку, но чтобы и ее услышать, как все. Да, «вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», это он верно вспомнил. А дальше было: «твоей защиты умоляю». Антонина Ивановна, девушка совершенно бедная и совершенно честная, тоже умоляла его о защите. Это мелькнуло в мыслях, но об этом сейчас не хотелось думать. По мере того, как он читал, в воображении

120

возникали первые смутные очертания сценария оперы.

Он писал этот сценарий всю ночь. С воспаленными глазами, вострепанными волосами, он встретил день, разбудил Алешу. Он решил ехать к Шиловским, в усадьбу Глебово, к Володиному брату, Константину, просить его писать либретто.

Он не думал долго, прежде чем выбрать Константина Шиловского в либреттисты. Его всегда очень мало интересовал словесный текст его опер и романсов. Бывало, когда под рукой не было ни Фета, ни Мея, он сам писал слова, и никогда ему в голову не приходило устыдиться этих беспомощных виршей, за которые Кюи называл его «самым некультурным» из русских композиторов. Даже Антон Рубинштейн не позволял себе этого: Антон Рубинштейн, правда, не оставлял от стихов почти ничего: в романсе «Слышу ли голос твой», были у него, например, такие строки: «И так на шею бы тебе я кинулся, и так на шею бы тебе я кинулся, и как-то весело и хочется плакать, и так на шею бы тебе я кинулся, и так на шею бы тебе я кинулся» — вот что делал он порой, но все же сам остерегался писать слова для своих романсов. Чайковскому было

все равно, он просто не понимал, когда друзья его смеялись над ним, и над качеством текста своих опер не задумывался никогда: сам исправлял и портил либреттистов как заблагорассудится. И теперь он ехал к Шиловскому, светскому пошляку, любителю-актеру, автору модного вальса «Тигренок», просить его *как можно скорее* написать текст новой оперы. Ночной сценарий он вез с собой.

Еще раз, когда он рассказывал Шиловскому сцену письма Татьяны, что-то зацепило внутри: это судьба! Неужели я прочту Антонине Ивановне урок: так не ведут себя благовоспитанные девицы, желаю вам поскорее выйти замуж за подходящего человека. Нет, это судьба. Жизнь дает мне то, что я искал. Надо быть ей благодарным.

121

Несколько дней он пробыл в Глебове, много раз возвращался мыслями в Москву; он пробовал думать о том, что Антонина Ивановна чем-то еще меньше похожа на Татьяну, чем он на Онегина. Но ведь он почти не знал ее. Она так просила его прийти к ней, она так ждала его, а он все не шел. В последнем своем письме он написал ей о своих недостатках: сварлив, брюзглив, меланхолик, капризный, больной, тяжелый на подъем...

Это не испугало ее. По возвращении в Москву он нашел у себя ее письмо:

«Неужели же Вы прекратите со мной переписку и не повидавшись ни разу? Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки. Бог знает, может быть, Вы считаете меня за ветреницу и легковверную девушку и потому не имеете веры в мои письма. Но чем же я могу доказать Вам правдивость моих слов, да и наконец, так и лгать нельзя. После последнего Вашего письма я еще вдвое полюбила Вас, и недостатки Ваши ровно ничего для меня не значат... Я умираю с тоски и горю желанием видеть Вас... Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Ведь Вы можете принять это за нахальство с моей стороны...

Могу Вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка в полном смысле этого слова и не имею ничего, что бы я хотела от Вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан Вам и более никому в свете. Жить без Вас я не могу, а потому скоро, может быть, покончу с собой. Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне... Целую и обнимаю Вас крепко, крепко...»

Были еще письма. Он принялся отвечать на все сразу. Модесту он сообщил о новой опере на текст Пушкина, зятю написал, что, может быть, приедет в конце лета в Каменку: писать, писать и писать, Антонине Ивановне он послал краткое извещение о том, что будет у нее в пятницу вечером.

О любви в тот вечер не было сказано ни одного

122

слова: он волновался куда больше нее, когда сидел за чайным столом против недурненькой, жеманной, перетянутой в талии особы лет под тридцать. Сама она, как видно, не умела заводить разговора, но с удовольствием слушала его, и попросила сыграть что-нибудь на стареньком пианино. Выяснилось, что она, хоть и была музыкантшей, не знала ни одного произведения Чайковского, несмотря на то, что четыре года им интересовалась. Комната была темноватой, но чистой, со множеством безделушек. Чайковский крутил в руке то толстую бархатную кисть кресла, то бахрому ковровой скатерти, говорил, что нелюдим, что у него долги, что Алеша ангельски терпит его капризы. Она рассказала ему, как в нее был влюблен недавно один генерал; что у нее мамаша, вдова, и имеется какой-то лес возле Клина, который батюшка покойный ей оставил, и лес этот не худо бы продать; сказала, что у нее характер ровный, не ветренный, — Боже упаси! — и главное, что ей решительно ничего не надо. Она не требовательна. У нее одна мечта: составить счастье любимого человека.

Он посмотрел на нее, умоляя ничего больше не говорить, и она сейчас же замолкла. Потом она рассказала ему что-то про институт, в котором училась... Он ушел, уверяя себя, что ничего не произошло особенного, и если что и будет, то будет не скоро, и даже, может быть, вовсе ничего не произойдет. Но Антонина Ивановна рассуждала иначе.

Она подождала два дня. За эти два дня она все обдумала: она была в восторге от Чайковского. У нее были подруги, и она поделилась с ними своими впечатлениями о нем, которые ее душили. Она написала матери: «Маменька! — писала она. — Этот человек такой деликатный, такой деликатный, что не знаю, как и сказать!» Больше всего ее умиляло, что он чернит себя («и любить-то не умею, и не привязываюсь-то ни к кому»), — это в наш-то век всеобщего хвастовства и гордости.

123

Она, после двухдневного ожидания, написала ему свое самое страстное, но и самое деловое письмо: если вы были у меня, одинокой девушки, писала она ему, то этим самым вы уже связали наши судьбы. Или вы сделаете меня своей законной женой, или я покончу счеты с жизнью. У меня еще никогда не было вечером в гостях холостого мужчины.

Она была, быть может, права: уж если Онегин пошел к Татьяне чай пить, то он, по ходу романа, должен был жениться на ней. Вероятно, не следовало ходить к ней после ее писем и признаний, но как же было не пойти, раз она так просила?.. А теперь — дорога назад закрыта. Впрочем, не сам ли он мечтал о соединении с «особой», а главное — о том, чтобы его кто-нибудь полюбил?

Минутами мерещилось, что тут что-то не так, что кто-то из них чего-то не понял. Но где было искать другую? И разве эта миленькая, послушная и как будто вполне бескорыстная девица не составит его счастья? Если она грозит утопиться и отравиться, разве она мало любит его? Он должен быть ей благодарен; ей, здоровой, молодой и, вероятно, доброй: она полюбила его, и счастья от него не требует.

Это было странное предложение руки и сердца. Собственно, сердце предложено не было. Антонине Ивановне предлагалось выйти замуж за человека, который ее не любил, откровенно говорил ей об этом, и никогда не обещал ей ее полюбить... он так и сказал ей: я не люблю вас и никогда не полюблю... Антонина Ивановна улыбнулась. Она была довольна оборотом, который принимало дело. Свадьбу он обещал сыграть через месяц. Он еще раз упомянул, что у него «странный характер», что он не обещает ей счастья. И на прощанье он поцеловал ее руку, прося все это сохранить до времени в тайне.

Никто не должен был знать о том, на что он решился. Еще попросят показать невесту, начнут судить, пожалуй, отсоветуют или засмеют. Он написал отцу,

124

— не так, как писал когда-то о Дезире, в которую был влюблен, — написал кратко, просил никому не говорить. Написал он и братьям. Сговорившись со знакомым священником, он назначил день свадьбы: 6 июля. Модест не мог быть, но Анатолий обещал приехать. Письмо Анатолия было радостно-тревожным; ему непонятно было, отчего Петр Ильич так спешит?..

Что бы он делал, если бы Надежда Филаретовна не прислала ему трех тысяч? Холод шел у него по спине, когда он вспоминал, как жил эту зиму — в долгах, в душивших заботах. Но будущее было темно. Экзаменовал он с отвращением — хотя никто не мог бы этого заметить. Неужели с осени начнется то же, но еще круче: утром хождение в классы, вечером — сидение дома с женой, изредка — выезды в театры, в концерты, в гости; и нехватка денег, постоянная, зловещая нехватка, от полного неумения рассчитать, как жить?

Надежда Филаретовна — это была рука, протянувшаяся к нему. И в последние дни этого мая, когда он дописывал Четвертую симфонию, посвященную ей, он не раз думал о ней с благодарностью и любопытством. Не ей ли он был обязан только теперь — так поздно! — пришедшим к нему осознанием себя, как музыканта, как прежде всего — музыканта? Когда он думал о десяти последних — и в сущности настоящих — годах своего композиторства, ему казалось, что, несмотря на чудовищный труд, на самолюбие, на подлинные вдохновения, несмотря на Вторую симфонию, на некоторые романсы, даже на «Франческу», он не был тем, чем становился сейчас, он еще до последнего времени не врос в свое искусство, не любил себя в нем, не любил его больше жизни, как готов был полюбить сейчас. В тот день, когда он дописал вчерне вещь, посвященную «лучшему другу», он почувствовал, что отсюда начнется для него что-то очень важное, что его, когда-то случайного

125

музыканта, потом — весьма посредственного композитора, сейчас стережет что-то настоящее, серьезное, что он вот-вот сольется уже неразрывно с той стихией, которая была до сих пор для него только лирическим деланием и которая скоро станет делом всей его жизни.

«Онегин»... Конечно, поставить его нельзя будет никогда. Где это видано, чтобы на сцене все было так просто, так «по-домашнему», почти современно. Это даже нельзя будет назвать оперой. «Лирические сцены» — и только... Писать, писать, а там видно будет. До свадьбы успеть хоть вчерне записать несколько сцен.

Он простился с Антониной Ивановной. Экзамены кончились. Четвертая симфония в эскизах была кончена тоже. Шиловский звал его к готовому либретто — надо было ехать.

IX

В Глебова он вставал в восемь часов. В его распоряжение был отдан флигель с фортепиано. Один он пил чай и писал до завтрака, а после завтрака снова писал до обеда. Вечером он уходил на большую прогулку и потом возвращался молчать в большой дом, где Константин Шиловский с женой и две старые девы — гости раскладывали пасьянс, читали газеты, где окна огромного балкона были открыты в густой липовый сад, где никто ни о чем не спрашивал, где его любили.

Он писал много и хорошо — он сам это видел. Если бы кто-нибудь попробовал оторвать его от нотной бумаги, от звуков, шедших к нему с неудержимой силой, он, вероятно, как лунатик, очнулся бы и закричал. Он не видел недостатков либретто, ужасающих стихов, сочиненных Шиловским, строф Пушкина, искаженных ветреным автором «Тигренка», —

126

он писал с таким «неописанным наслаждением и увлечением», что мало заботился о том, «есть ли движение, эффекты, все то, чему полагается в опере быть». «Плевать на эффекты!» Он сознавал, что это не будет похоже ни на «Аиду», ни на «Африканку», минутами он бывал твердо уверен, что это опера, лишенная будущности, и все-таки, чем больше писал, тем больше «таял, трепетал от непрерывного наслаждения». Любовь. Говорили, что она всегда в музыке удавалась ему. Когда он писал письмо Татьяны, ему мгновениями казалось, что он самую жизнь готов отдать за творческий восторг, что другого счастья ему не нужно.

Но московское дело было сделано. Он вернулся из Глебова с двумя третями оперы к самой свадьбе, он действовал, как автомат: послал невесте цветы, встретил Анатолия на вокзале, пылливо и нежно глядевшего на него; машинально скрывался от Николая Григорьевича — которому уже кто-то успел шепнуть, что Чайковский пишет оперу на сюжет «Онегина», и Николай Григорьевич нашел, что это прелестно: конечно, оперы у него не выйдет, но сценки могут оказаться весьма милы; он просил непременно кончить к зиме, чтобы поставить эти сценки на консерваторском спектакле. И нельзя ли — счастливый конец?.. Кроме того, Чайковский написал длинное письмо Надежде Филаретовне, где ей, а заодно и себе, объяснил, как, в сущности, стал женихом.

Итак, он становился, «как все», и в церкви, как у всех, во время венчания, у него было торжественное лицо. Она стояла рядом. Она была довольно красива и стройна. В глазах ее не было никакого выражения. Тщетно старался Анатолий Ильич решить, что за женщина стоит впереди него; он и Котек, скрипач, держали над молодыми венцы. О. Разумовский, приятель Чайковского, настоятель церкви Георгия Победоносца, венчал истово, пели певчие в пустой церкви; у левого клироса стояла мамаша Антонины

127

Ивановны, пожилая особа с рыхлым лицом и тяжелой фигурой, ее поддерживал под локоть дальний родственник неопределенной наружности. Больше не было никого. Но в остальном все было очень обыкновенно, очень прилично. Разумовский с пухленькой ручки Антонины Ивановны снял кольцо и надел его Чайковскому на безымянный палец. У Чайковского были довольно большие, красивые руки, и он смотрел на них теперь, как на чужие. Было жарко. Странно было колыхание душистой фаты подле левого его плеча.

— Поцелуйтесь, — сказал священник.

Чужое миловидное лицо с готовностью обернулось к нему; Чайковский слегка наклонился. Губы его коснулись края губ Антонины Ивановны и ее розовой щеки.

И в это мгновение дрожь отвращения прошла по нему. Его замутило. Он понял, что начинается ни сон, ни явь, — ужас, которому не будет конца. И в ту же минуту он увидел за плечом Антонины Ивановны глаза Анатолия, и он понял, что Толя читает его мысли, что Толя боится за него. Спазма сжала ему горло. Он выдавил на лице мертвую, страшную улыбку.

Все было кончено. Карета отвезла их на Николаевский вокзал, по пыльным летним московским улицам. «Я не люблю вас и никогда вас не полюблю», — хотел повторить Чайковский сидящей рядом с ним женщине в высокой флердоранжевой наколке, но в лице ее он увидел такую безмятежность, такую сытость, что слова остановились в нем. Как часы, тикало его сердце под белым жилетом.

«Когда вагон тронулся, — писал он потом брату, — я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену до Клина, чтобы заслужить право в

темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой... Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не созна-

128

вала моей плохо скрываемой тоски...»

Илья Петрович, получив известие о том, что сын женился и едет к нему с женой, сначала перекрестился, а потом подпрыгнул от радости. В нем за последнее время появилось что-то святое и детское, ему было восемьдесят два года, он был женат третьим браком на доброй и простой женщине, Елизавете Михайловне, и вместе с ней, преданно любившей всех его детей от покойной Александры Андреевны, стал готовиться к приему молодых.

Они прожили у него неделю. По летнему времени, все знакомые были в разъезде, театры — закрыты. Ни в Павловск на музыку, ни на гулянье на Острова они не выезжали. Невестка понравилась Илье Петровичу, она, как видно, любила Петрушу, который от нее не отходил. Но его постоянное при ней присутствие вовсе не означало, что он не мог без нее жить: он как будто не хотел оставить ее одну. Музыку свою он в это время не писал и о ней не говорил. У него появилась глубокая морщина между бровей; на вопрос, счастлив ли он, заданный Елизаветой Михайловной, он ответил, что вполне счастлив... После их отъезда прислуга сказала господам, что молодая барыня спала на постели в отведенной ей гостиной, а молодой барин — в кабинете, на диване. Илья Петрович не понял, чего именно это касалось, но Елизавета Михайловна задумалась.

У матери Антонины Ивановны, под Клином, в мещанском домике, куда приехали они после медовой недели в Петербурге, им была предоставлена всего одна комната, и в ней — огромная, пуховиком крытая, постель с шестью подушками, мал мала меньше. Здесь то же было внимание и та же радость по поводу совершившегося, те же разговоры, что негоже человеку во всех отношениях достойному, жить одному, намеки на будущее потомство... Отношения у Антонины Ивановны с матерью были престранные: они то шумно и безжалостно ссорились, то

129

нежничали друг с другом, то дулись друг на друга. И здесь тоже молодые пробыли неделю. Антонина Ивановна несколько раз выходила к утреннему кофе с заплаканными глазами. Чайковский опять не отходил от нее, и было совершенно ясно, что он не хочет оставить ее одну ни с матерью, ни с кем бы то ни было. Один раз, вечером, с ним сделались какие-то конвульсии: он сидел в кресле перед окном, и Антонина Ивановна неожиданно вспорхнула к нему на колени. Он успел только сказать, отстранившись: я предупреждал вас, я поступил вполне честно... Но она, изогнувшись как кошечка (что, впрочем, шло к ее миловидной внешности), осыпала лицо его жаркими поцелуями. Он с силой отбросил ее от себя, и его свела долгая судорога, после чего мокрое от слез лицо он закрыл руками и просидел так с час, пока Антонина Ивановна, с внезапным бешенством, рвала на мелкие кусочки платочек, вуаль, какое-то кружево, все, что попадалось под руку. Ей было двадцать восемь лет, она знала из романов и от замужних подруг, что такое брачная ночь, которой до сих пор у нее не было. Ей казалось, что человек, который называется ее мужем, робок и целомудрен, — и только. Себя она считала женщиной со скрытым вакхическим темпераментом. Впрочем, рассуждать она не была обучена и про себя думала, что главного добилась: она была замужем, она была женой Чайковского. Она решила найти в Москве уютную квартиру, обставить свое «гнездышко», завести кухарку; не может быть, чтобы этот стыдливый человек, этот ангел добродетели и деликатности не ответил на ее любовь.

На квартиру и кухарку он был согласен. За это Антонина Ивановна должна была согласиться на его отъезд в Каменку в конце лета. Он так давно не видел сестры и детей. Он был в таком состоянии, что едва мог объяснить ей, что так будет лучше. Он не будет ей мешать в ее хозяйственных хлопотах, допи-

130

шет «Онегина» вчерне... Пока он говорил все это, она, распустив волосы, сняв волосную накладку, в длинных, белых, обшитых кружевом панталонах и сквозном батистовом лифчике ходила перед ним. Потом он тяжело и с храпом уснул в кресле, а она недоуменно смотрела на него с подушек, пока не погасла догоревшая свеча.

Сначала он думал пробыть в Каменке недели три, но куда и зачем было ему ехать отсюда? Если у него в жизни могла быть радость, то только здесь. Сестра Сашенька, из петербургской барышни давно превратившаяся в мать многочисленного семейства; ее муж, известный в губернии хозяин-свекловод, души не чающий в жене и детях; четыре девочки-подростка; три

мальчугана; Анатолий, Модест, съехавшиеся сюда в этом году; сама старуха Давыдова с тремя дочерьми, — все это окружило Чайковского таким плотным кольцом, что он некоторое время думал, что кольцо это так и не прервется, что оно навеки защитит и укроет его от жизни, от Москвы, от жены; ему начинало казаться, что он попал в новую страну, где нет бессонниц, страхов, припадков, где в томительной, страстной и счастливой грусти он доживет свою жизнь.

Каменка! Пушкинское место, где двадцать лет назад русская старина, прошлое русской поэзии и декабрьского мятежа впервые открылись ему в незабвенном своем романтизме. С тех пор он много раз наезжал сюда. Это было настоящее семейное гнездо, какого у него никогда не было и не могло быть и которому он томительно, страстно и счастливо завидует.

Но отчего томление? В этом виноваты дети. Девушек он любит; слов нет сказать, как он любит их: и красавицу Таню, и умненькую Анну — всех четырех одинаково. Но разве может сравниться эта любовь с тем обожанием, которое доводит его до восторженного замирания сердца, с тем невыразимым, безум-

131

ным чувством, которое он испытывает к Бэби? Это — Володя, племянник, ему семь лет, у него нежное лицо и льняные, легкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Он умен, ласков, послушен, он — любимец семьи. И Чайковский в этот приезд к сестре сознает, что его чувство, это пленение, этот восторг кончатся для него только со смертью.

В этой жизни временами для Чайковского наступало смутное отрезвление: да, малодушие, да, «мрачная, нервная экзальтация», — думал он, вспоминая свою двухнедельную жизнь с Антониной Ивановной. Отрезвление приносило с собой какие-то благоразумные намерения: ведь есть же и у этой женщины хорошие стороны. Их надо найти, оценить. С благоразумными мыслями пришла жажда работы — это было уже излечение. Чайковский приступил к инструментовке Четвертой симфонии. Писать, молчать, делать свое дело, смириться — неужели искусственное счастье невозможно и нужно непременно подлинное?

Он ложился рано: на рассвете, со сна, ходил с Модестом на охоту. Это был запой: он стрелял, почти никогда не попадая, вальдшнепы и дикие утки выносились из-под его ног, собака смотрела ему в глаза укоризненно и смущенно, но он палил и палил в рассветный августовский воздух, над тихим болотцем, прямо в осевший к горизонту осколок кривой луны.

Потом возвращались домой росой обрызганных сапогах, дружно съедали яичницу из дюжины яиц, выпивали по шесть стаканов чаю. Дом наполнялся детским гомоном, девичьим щебетаньем, мисс Иствуд выводила Митю и Бэби в столовую, нянюшка докладывала Александре Ильиничне, как изволил вести себя ночью маленький Ука.

Вечера становились прохладнее, отшумели последние грозы, хлеб был убран, поля были сухи и желты. У балкона глянцеви́то зрела рябина. Антонина Ивановна писала, что квартира снята, что «гнездышко» к

132

его приезду готово. Подступала середина сентября, в консерватории начались занятия. Москва звала его, и надо было ехать.

«Онегина» он здесь почти не трогал. Вчерне, он, впрочем, был почти готов. Он ничего не ждал от этой своей оперы и, пожалуй, если бы не Николай Григорьевич и консерваторский спектакль, не стал бы вовсе спешить. Тот пыл, с которым он набрасывал ее в Глеbove, сейчас казался ему уже невозможным. Он вез в Москву почти отделанную симфонию, посвященную «лучшему другу», он вез в Москву сердце, полное маленьким Бэби и всеми этими людьми, среди которых он пришел в себя, — а других у него на свете не было.

Да, кухарка была нанята, квартира напоминала бонбоньерку — фарфоровая пастушка обнимала фарфоровую овечку на старом его фортепиано. Он осторожно переставил ее на подоконник, окно распахнулось, пастушка разбилась. Кухарка, впрочем, была не та, о которой писала ему Антонина Ивановна, — с той она уже успела поссориться и даже судилась у мирового. Антонина Ивановна жаловалась, что денег едва хватило. Петичка, все говорила она, Петичка! — и время от времени целовала его в щеку и губы, а главное, делала вид, что ужасно счастлива.

Между тем в Москве уже знали о его женитьбе.

Николай Григорьевич рвал и метал: ничего не сказал ему, музыкальному опекуну, сделать тайно какой-то, кажется, мезальянс. Как? Почему? Консерватория встретила Чайковского улыбочками. Профессора, московские музыканты окружили его, лобызали, поздравляли.

Юргенсон позвал к себе на вечер — отпраздновать событие. Всем страстно хотелось увидеть «избранницу сердца».

В тот вечер он не старался быть ни веселым, ни вежливым. С утра он не пил, чтобы никто не мог сказать, что он пришел к Юргенсонам пьяный. Он стоял за креслом жены, вытянув руки по швам, не улыба-

133

ясь, отвечая на предлагаемые ей вопросы, так что никто и не услышал ее голоса в тот вечер. Он посадил ее за ужином рядом с собой. Николай Григорьевич успел ей шепнуть какую-то шутку, и она долго хихикала, отчего в лице Чайковского появилось выражение страдания. Лилось вино в стаканы, обильная, пряная закуска наполняла тарелки. «За здоровье молодых!» — кричал хозяин, хозяйка умильно смотрела на парочку. «Горько!» — кричал Николай Григорьевич, — ему очень хотелось посмотреть, как Чайковский целуется, он никогда этого не видел. Одному Кашкину в тот вечер было не по себе, и когда Чайковские очень рано — едва отужинав, — под всеобщие двусмысленные шутки уехали домой, Кашкин подошел к господам профессорам и сказал, что ему за Петра Ильича беспокойно. Под хмельком и гости, и хозяева ругнули Антонину Ивановну, и Николай Григорьевич объявил во всеуслышание, что она не дама, а сущий консерв.

Бежать? Убить? Умереть самому? Он еще не знал, что сделает, но в первые же дни совместной жизни в «гнездышке» он узнал, что человеческим возможностям положен предел, что он не может жить с женщиной, с женой, что он совершил безумный шаг — не только не укрывший его от подозрительности окружающих, но выдавший его с головой, ставший его гибелью, опозоривший его навсегда. Куда деться? Днем он закрывал двери кабинета и пытался писать, но вместо этого часами сидел или лежал в каких-то галлюцинациях, лежал, как мертвец, неподвижно, потом вскакивал, стоны выходили из его груди, он в полубеспамятстве подбегал к окну и несколько раз с силой ударялся головой о косяк; в глазах темнело; он ударялся еще, пока боль не становилась обморочной, и тогда ронял свою почти уже седую голову в руки и рыдал.

Модест был далеко. Анатолия совестно было тревожить. Кондратьев не ответил ему на письмо. Все

134

остальные были ему страшны. В ночных улицах, где шел дождь, выл ветер, кружились последние листья, сорванные с бульварных деревьев, мелькали облики знакомых, забытых людей: больному, измученному воображению казалось: вон мать его, та дама, в бурнусе; навстречу ей идет кто-то, до боли знакомый; они перемигиваются, показывают на него... Сейчас его схватят... Он бежал по лужам, в темные переулки, к Москве-реке. Покончить с собой казалось ему слишком страшно: какое горе причинит он своим, каким позором покроет их имя! Погубит все: карьеру братьев, последние годы отца; семью сестры ославит нехорошей славой, и девочек, и Бэби, который, когда вырастет, осудит... Каменка. «Полнота счастья». Это было, и это прошло, как прошла жизнь, как прошла музыка, которая как раз сейчас, только сейчас, стала всем его существом — сколько времени было потеряно, как поздно начал он созревать. Не успел и десятой доли сказать, что хотелось. И с той тоже покончено, с Надеждой Филаретовной, с «лучшим другом» — о, как беспощадно отвернется она от него, когда узнает... Не она ли вон та высокая старуха, идущая по мосту? Она тоже подозрительно и строго смотрит на него. Надо спешить. Так дольше невозможно.

И вот — мгновение: план. Не топить, а только войти по грудь, чтобы смертельно заболеть, — и никто не узнает, что он — самоубийца; его отпоют и похоронят по чину. И он предстанет Богу... Как? И там, как здесь, придется отвечать за то, в чем он не виноват? Мысль его катится назад, через молодость, в детство.

Хлещет дождь. Никого. Он спускается к темной реке. На том берегу огни, где-то дребезжит извозничья пролетка. Он скользит в темноте, к воде, и ступает в шелестящий ее холод. Ему больно от этого холода, тяжелеют башмаки, намокают панталоны. Его тянет, ах как его тянет в этот ледяной мрак без

135

дна, без памяти, в смерть. Но нельзя. Что скажут люди? Мелькают лица давыдовских девочек: дядя Петя покончил с собой. Нельзя! Куда, куда ему деться?

Вода была холодна и тяжела. Он чувствовал, что простужается. Он будет мучиться в лихорадке, и Антонина Ивановна позовет к нему доктора. Он будет сладко, жарко, беспмятно

болеть. Дадут знать в Петербург, в Киевскую губернию. Вода покрывает ему колени. Он спускается еще ниже. Осторожно: не провалиться бы...

Он оступает, и сразу вода подходит ему к груди. Он плачет и поднимает руки; он не чувствует тела — расстегнутое пальто всплывает вокруг него, и он теряет палку. Он видит кусок дерева в воде, рыжие, пригнанные листья, какой-то сор... Воспаление легких, воспаление почек, воспаление кишок. Еще шаг — и его не будет, надо вернуться.

Тело он почувствовал сразу, как только вышел из воды, — оно теперь мешало ему двигаться, оно онемело, заоченели ноги. Он едва добрался до берега. Вода заструилась с него ручьями, он только смотрел, как она текла, и дрожь началась, словно отбивалась частая барабанная дробь. В голове начали мешаться мысли, он всегда любил духовые и барабанную дробь любил, почему же теперь ему неприятно? Ларош даже упрекал его однажды: если ты порядочный человек, серенький, то нечего такие fortissimo запускать. Ему казалось, что он слышит рев духовых — и от этого теперь тоже было очень больно. (Хорошо бы сунуть руки в карманы, но карманы слиплись и в них никак не попасть трясущимися кистями.) Потом ему показалось, что кто-то стоит перед ним. Друг? Все равно, молчать, никому не признаваться. Враг? Сейчас потащат куда-нибудь, в ночь, в дождь... Он поднимался по берегу. Пудовой тяжестью облегал его мокрое платье.

Он пришел домой в бреду. Антонина Ивановна

136

велела Алеше раздеть его и уложить в постель. На минуту, когда ему дали горячего чаю с ромом, он пришел в себя и забормотал что-то о том, что он помогал рыбакам ловить рыбу и упал в воду. Потом глаза его остановились на женщине, стоявшей у его постели. У женщины были светлые волосы, розовое лицо, тонкий рот... Он закричал что было сил, забился на постели. Поздно ночью Алеша переменял ему рубашку — он сильно вспотел.

К утру жар спал, даже доктора звать не пришлось. Он сидел на постели, под одеялом, ломал руки. Антонина Ивановна сидела рядом и подстригала заусенцы. Он слушал щелканье ножниц и наконец сказал тихо: «Уйдите отсюда».

Она взвизгнула звонко и начала топтать ногами. Он вскочил с постели, грузно побежал и захлопнул дверь, чтобы не было слышно на кухне, потом он запахнул халат, провел рукой по волосам, с искаженным лицом подошел к ней. Она отскочила от него. Он не сказал, он только прошептал ей что-то. Он был красен, голос его был сипл, его узнать было нельзя. Пошатываясь, он нагнал ее в углу комнаты. Он поднял руку к ее лицу — схватить, ударить, задушить. Она с истерическим хохотом выбежала из кабинета.

Когда он пришел в себя, голова его тряслась, руки тряслись, по лицу катились слезы. Он взял бумагу, перо и написал Анатолию короткое письмо:

«Мне необходимо уехать. Пришли телеграмму — якобы от Направника, что меня вызывают в Петербург».

Алеша отнес письмо на почту. На второй день к вечеру пришел вызов: присутствие Чайковского в Петербурге было необходимо, дирекция Мариинского театра просила его выехать немедленно.

Вечером был скорый поезд. Дорожный несессер, купленный в последнюю поездку за границей, Алеша заставил его взять с собой, — Чайковский хотел

137

ехать вовсе без вещей. Антонина Ивановна прочла телеграмму, подписанную «Направник». Две слезы встали у нее в глазах. «Петичка», — сказала она в последний раз и попросила его сказать, что именно купить ей у Юргенсона из его фортепианных пьес, — она ни одной из них не знала и хотела попробовать их поиграть.

Когда на следующее утро он вышел из вагона, Анатолий в первое мгновение не двинулся на перроне: Анатолию показалось, что это не он: шел старик с лицом исхудавшим и желтым, с воспаленными глазами и трясущимися руками. Анатолий кинулся к нему, обнял, прижал к себе, но Чайковский не мог произнести ни одного слова. В номере гостиницы «Дагмара» он двое суток пролежал без памяти.

X

Окно швейцарского пансиона выходило прямо на Леманское озеро. Прозрачный осенний воздух тек в этой горной тишине легким, едва ощутимым ветром, от которого со слабым металлическим звуком дрожали листья магнолии и, казалось, еще шире и пышнее раскидывалась в саду старая смоковница. Анатолий был рядом с ним. Чайковский был в Кларане. Стоял октябрь.

Он сам себе говорил, что для полного выздоровления ему нельзя вспоминать, как и почему он сюда попал. Но память в светлые часы безмятежного праздного дня перебирала последние недели жизни. Он был еще в полубреду в номере «Дагмары», когда Анатолий выехал в Москву.

Анатолий остановился у Рубинштейна, который засыпал его вопросами. Только ему одному пришлось рассказать все как было, и Николай Григорьевич, со всегдашней своей энергией, принялся за дело, хотя Анатолий и уверял его, что справится

138

один. «Нет, нет, — повторял он, — я непременно хочу помочь вам».

Они дали знать Антонине Ивановне, что будут у нее по делу, она ответила кокетливой запиской, что ждет их к чаю.

Анатолий старался объяснить ей, как можно бережнее, что Чайковский к ней больше не вернется, но Николай Григорьевич прямо напустился на нее за ее непонимание «нашего великого музыканта». Узнав, что муж бросил ее, она не выказала ни отчаяния, ни даже простого сожаления, несколько раз вставала, охорашивалась перед зеркалом и, что-то напевая, рассказывала им о генерале, ее женихе. Провожая их, Антонина Ивановна сказала, что никак не ожидала еще вчера, что сам Рубинштейн сегодня приедет к ней чай пить...

На лестнице оба взглянули друг на друга. Да поняла ли она, зачем они приходили? Но оказалось, что поняла прекрасно, особенно же вникла в сторону дела материальную: ей было сказано, что ее обеспечат.

Рубинштейн согласился на то, чтобы Чайковский взял в консерватории годичный отпуск. Было решено, что в Москве он скажет, что Петр Ильич серьезно заболел и уехал, а жена его в скором времени последует за ним. Анатолий вернулся к брату. Тот за это время хотя и встал с постели, но из дому не выходил: он боялся кого-нибудь встретить, боялся всего, боялся Балакирева, Направника, скрывался ото всех. Он ни с кем не хотел видеться, потому что никому ничего не мог бы объяснить. Кроме того, ему казалось, что ни один человек не подаст ему руки.

А та рука, которая еще недавно протянулась к нему? Неужели и Надежда Филаретовна отвернется от него теперь, разлюбит его? «Вдруг она узнает про то и прекратит со мной всякие сношения?» — думал он. Ему нужны были сейчас, срочно, ее письма, ее внимание, ее помощь. Впервые сев за письменный

139

стол в кларанском пустынном пансионе (а Анатолия он все не отпускал от себя, Анатолий должен был и тут сидеть с ним рядом), он написал ей, как мог; старался писать почти правду:

«Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, что привычка, в силу которой я надеялся, никогда не придет. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. И между тем я никого не мог винить, кроме себя... Я смертельно боюсь, что и в Вас промелькнет чувство, близкое к презрению...» И тут же попросил денежной помощи. Его письмо пришло к ней в Москву в то время, когда она, узнав через знакомых музыкантов о его болезни и отъезде, не находила себе места от волнения за него.

«Я радуюсь, что Вы вырвались из положения притворства и обмана, — ответила она ему, — положения несвойственного Вам и недостойного Вас. Вы старались сделать все для другого человека, Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как Вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Что же касается моего внутреннего отношения к Вам, то, Боже мой, Петр Ильич, как Вы можете подумать хотя на одну минуту, чтобы я презирала Вас, когда я не только все понимаю, что в Вас происходит, но я чувствую вместе с Вами, точно так же, как Вы, и поступала бы так же, как Вы, только я, вероятно, раньше бы сделала такой шаг разъединения... Я переживаю с Вами заодно Вашу жизнь и Ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что Вы чувствуете и делаете. Боже мой, как бы я хотела, чтобы Вам было хорошо. Вы так мне дороги... Она просила его позволения впредь всегда и во всем заботиться о нем, чтобы он никогда не думал о деньгах, иначе ей «будет больно».

Три тысячи она выслала ему в Кларан, и обещала ежемесячно высылать полторы. За это она хотела двух вещей: чтобы он иногда писал ей и чтобы он хранил их отношения в тайне.

А между тем Антонина из роли непонимающей дуручки превратилась на время в овечку и жертву — на короткое время, но достаточное, чтобы тронуть сердце добрейшей Александры Ильиничны Давыдовой, пораженной случившимся таинственным скандалом. Сашенька восприняла разрыв супругов, как ссору, за которой немедленно должно последовать примирение — надо только уговорить, убедить, свести вновь друг с другом. Она выписала Антонину Ивановну в Каменку, она утерла ее слезы, обещала заставить ее Петичку вернуться к ней. Антонина Ивановна дала себя успокоить — каменским жителям она сначала показалась очень кроткой и вполне несчастной — но спустя неделю она внезапно сильно забеспокоилась: то, что Чайковский к ней больше не вернется, она понимала, но она так же хорошо поняла, что у нее против него есть оружие и что этим оружием пора воспользоваться.

Она написала ему в Кларан, что, если он не вышлет ей сумму денег, она расскажет отцу его и сестре всю о нем правду. Не дождавшись его ответа, она так и сделала: написала Илье Петровичу (письмо перехватили), открылась во всем Сашеньке: она называла его обманщиком, женившимся на ней только для того, чтобы *замаскироваться*, она ужасается его порокам, за которые ссылают в Сибирь... Антонина Ивановна показывала свои коготочки.

Деньги, деньги! Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда: Москва ужасает воспоминаниями, в Петербурге — отец, впавший в детство, которому невозможно объяснить, что произошло. Даже Каменки он лишился (Са-

141

шенька пишет, что они всей семьей осуждают его, даже Бэби). Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод? Но на развод нужна такая сумма! Десять тысяч.

И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна «будет умной», оставит его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру. Пока же он будет держать ее под угрозой: за малейшее слово о нем он лишит ее месячного сторублевого пособия.

Каждое напоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок, но в промежутках между письмами он приходил в себя, он медленно возвращался к жизни, к «Онегину». Правда, желание пить и особенно испанское тяжелое вино, которое, как он говорил, успокаивает ему сердечные замирения, это желание в нем было еще очень сильно. Но швейцарский воздух, тишина пансиона, путешествие по Италии смирили его отчаяние.

Анатолий Ильич вернулся к оставленной службе, из Москвы приехал Алеша; брат Модест со своим воспитанником, глухонемым мальчиком Колей Конради, догнал Чайковского в Сан-Ремо, и — к февралю — все вновь вернулись в Кларан.

И опять они были одни во всем доме — сезон здесь летний и в феврале так же пусто, как осенью, и так же тихо и свежо. Колю вечерами укладывали рано спать, с ними оставался Алеша; Петр Ильич с Модестом садились за фортепиано. Возвращается последнее увлечение — «Кармен» Бизе, открываются новые радости — все у тех же французов, которых оба давно предпочитают немцам, — «Сильвия» Делиба («А ведь это лучше во сто раз «Лебединого озера», — говорил искренне Чайковский); играют недавно вышедшего в свет Брамса, но оба холодны к нему; играют опять и опять Шумана, Моцарта. Над кем еще можно так плакать, как над Моцартом? Все про-

142

ходит. Остается в мире только Моцарт и любовь Чайковского к нему.

Модесту скоро исполнится тридцать лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось: это — двойник, это — верная и немного утомительная тень, которую он все-таки страстно любит — не меньше, чем Анатолия по силе, но более взыскательно, менее слепо. Модест метит в драматурги, но сейчас это уже не страшно: у него есть и другое ремесло. В прошлом году он, предварительно окончив специальную во Франции школу, поступил в дом к некоему господину Конради — миллионеру, москвичу — обучать его глухонемого сына. И вот девятилетний Коля уже начинает говорить и понимает по губам, когда говорят другие.

В одном Модест не годится никуда: в беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством, и вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой

Филаретовной — разговор музыканта со слушателем. Как она ни верит ему во всем, она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра, и музыка для нее «источник опьянения, как вино», «как природа», она ищет в музыке забвения, наслаждения, соединения с чем-то, чего не может назвать: все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка — *его* музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии: «музыка, — возражает он, — не обман. Она откровение»...

Она спрашивает его о новой русской музыке: за что и надо ли любить ее? Он отвечает ей длинным письмом — обо всех: о тех, с которыми его сталкивала судьба в течение десяти с лишком лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды:

«Все новейшие петербургские композиторы народ очень талантливый, но все они до мозга костей заражены своим ужасным самомнением и чисто дилетант-

143

скою уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет Римский-Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Это натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что учиться не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и т. д. Сначала он этому верил. Первые его сочинения свидетельствуют об очень крупном таланте, лишенном всякого теоретического развития. В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из их кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет пять тому назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи, в сущности, ни на чем не основаны, что их презрение к школе, к классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть не что иное, как невежество. Само собой разумеется, нужно было учиться. И он стал учиться, но с таким рвением, что скоро школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой. Очевидно, он выдерживает теперь кризис, и чем этот кризис кончится, предсказать трудно. Или из него выйдет большой мастер, или он окончательно погрязнет в контрапунктических штуках.

Кюи талантливый дилетант. Музыка его лишена самобытности, но элегантна, изящна. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит оттого, что Кюи по своей специальности не музыкант, а профессор фортификации, очень занятый и имеющий массу лекций чуть не во всех военных учеб-

144

ных заведениях Петербурга. По его собственному признанию мне, он не может иначе сочинять, как подыгрывая и подыскивая на фортепиано мелодийки, снабженные аккордиками. Напав на какую-нибудь хорошенькую идейку, он возится с ней, украшает всячески, подмазывает, и все это очень долго, так что, например, свою оперу «Ратклиф» писал он десять лет. Но, повторяю, талант в нем все-таки есть; по крайней мере, есть вкус и чутье.

Бородин — пятидесятилетний профессор химии в Медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого *фатума*, приведшего его к кафедре химии, вместо музыкальной, живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у Кюи, и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи.

Мусоргского Вы очень верно называете отпетым. По таланту, он, может быть, выше всех предыдущих, но это натура узкая, лишенная потребности в самоусовершенствовании, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Он прямая противоположность своего друга Кюи, всегда мелко плавающего, но всегда приличного и изящного. Этот кокетничает, наоборот, своей безграмотностью, гордится своим невежеством, валяет как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки в самом деле талантливые и притом не лишенные самобытности.

Самая крупная личность этого кружка — Балакирев. Но он замолк, сделавши очень немного. У этого громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу, после того как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам и больше ничего. Несмотря на

свою громадную даровитость, он сделал много зла. Вообще, он изобретатель всех теорий этого странного кружка, соединяющего в себе столько нетронутых, не туда направленных или преждевременно разрушившихся сил.

Относительно Н. Рубинштейна Вы почти правы, т. е. в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют. Это человек необыкновенно даровитый, умный, хотя и мало образованный, энергический и ловкий. Но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всякого рода выражениям подчинения и подобострастия. Администраторские способности его и умение ладить со всеми сильными мира сего изумительны. Это, во всяком случае, не мелкая натура, но измельчавшая вследствие бессмысленно подобострастного поклонения, которым он окружен. Еще нужно отдать ему ту справедливость, что он честен в высшем значении этого слова и бескорыстен, т. е. он хлопотал и добивался не узких материальных целей, не из выгоды. У него страсть премировать и сохранять всякими способами непогрешимость своего авторитета. Он не терпит никакого противоречия и тотчас же подозревает в человеке, осмелившемся не согласиться с ним в чем-нибудь, тайного врага. Он не прочь прибегнуть и к интриге, и к несправедливости, лишь бы уничтожить этого врага. Деспотизм его возмутителен очень часто. Все его недостатки происходят от бешеной страсти к власти и беспардонного деспотизма... Когда он немножко выпьет вина, он делается со мной до приторности нежен и упрекает меня в бесчувственности, в недостатке любви к нему. Будучи в нормальном состоянии, он очень холоден со мной. Он очень любит дать мне почувствовать, что я всем ему обязан. В сущности, он немножко побаивается, что я фрондирую. Вообще, будучи от природы замечательно умен, он делается слеп, глуп и наивен, когда в голову ему взбрет мысль о том, что

146

хотят отнять от него положение первого музыканта Москвы.

Надежда Филаретовна задает ему новый вопрос — извечный вопрос, задаваемый композиторам о программной музыке, — касательно Четвертой симфонии.

«Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии? — отвечает он. — Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне предлагают этот вопрос, я отвечаю: никакой. И в самом деле трудно отвечать на этот вопрос. Как пересказать те неопределенные ощущения, через которые переходишь, когда пишется инструментальное сочинение без определенного сюжета. Это чисто лирический процесс. Это музыкальная исповедь души, на которой многое накопилось и которая, по существенному свойству своему, изливается посредством звуков, подобно тому, как лирический поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для выражения тысячи различных моментов душевного настроения. Обыкновенно вдруг самым неожиданным образом является *зерно* будущего произведения. Если почва благодарная, т. е. если есть расположение к работе, зерно это с непостижимой силой и быстротой пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерно и чтоб оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собой. Напрасно бы я старался выразить Вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна

147

мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнят, что нужно идти по делу... Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает; приходится искать его и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического сцепления, где замечаются шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если бы то состояние души артиста, которое называется вдохновением и которое я сейчас пытался описать Вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного

дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги. Необходимо только одно: чтобы главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется вдохновением. Но я отвлекся в сторону и не отвечаю на Ваш вопрос. В нашей симфонии программа есть, т. е. есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить, и Вам, только Вам одним, я могу и хочу указать на значение ее, как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это — *фатум*, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать.

148

Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы?

О радость! По крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то.

Как хорошо! Как далеко уже теперь звучит неотвязная первая тема аллегро. Но грезы малопомалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное забыто. Вот оно, вот оно, счастье!..

Нет, это были грезы, и фатум пробуждает от них...

Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропреходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот, приблизительно, программа первой части.

Вторая часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечером, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уже было, да прошло, и приятно вспоминать молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жить сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были и тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уже где-то далеко. И грустно и как-то сладко погружаться в прошлое.

Третья часть не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении, когда выпьешь немножко вина и испытываешь первый фазис опьянения. На душе невесело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь: даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки... Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутив-

149

ших мужичков и уличная песенка... Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью: они странны, дики и несвязны.

Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум опять появляется и напоминает о себе.

Но другим до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно».

Прошло то время, когда он в письмах к братьям называл ее за глаза «Филаретовной» — и часто не мог придумать, что ей писать, — все те же слова благодарности надоедали ему, а другого ничего он подобрать не мог. Теперь он с готовностью отвечает ей на ее вопросы о музыке, о религии, о любви; она дает новые толчки переписке, и он следует за ней:

«Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? — спрашивает она. — Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из Вашей жизни (Дезире Арто), но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон

вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может».

150

«Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая? — отвечает он. — И да и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе: т. е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: *нет, нет и нет...* Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: *да, да и да*, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю, или, лучше сказать, предоставляю судить другим».

А когда приходит письмо от Рубинштейна с извещением, что Чайковский назначен делегатом на Всемирную выставку в Париже, он посылает ей телеграмму: ехать ему или не ехать?

От этого письма он сразу не на шутку делается опять больным. Как? Бросить Кларан, Модеста, Алешу, ехать куда-то, видеть людей, наносить визиты, обедать с Сен-Сансом, дирижировать (это ему-то!) в Трокадеро, «представлять Россию» — все это кажется ему непереносимым, он окончательно стал «диким», он не хочет ни города, ни шума, ни людей. Он не хочет обязанностей. Надежда Филаретовна отвечает: «не ехать», и он пишет Рубинштейну, что отказывается от делегатства.

Николай Григорьевич сердится. Кашкин, Альбрехт и другие засыпают Чайковского письмами: он «неблагодарный», он — «эгоист». Но он выдерживает гнев московского вседержителя. Он остается в Швейцарии. И Николай Григорьевич вынужден сам ехать в Париж.

Между тем он кончил инструментовку «Онегина», и Четвертая симфония уже отослана Юргенсону. Он пишет скрипичный концерт и, хоть жалуется на катар желудка, на то, что, не выпив, не может взяться за перо, работает много. Сначала он делал

151

усилие, чтобы сесть за бумагу: это *надо*, этого нельзя не делать. Потом работа втягивает его — так бывает с ним почти всегда, он об этом пишет Надежде Филаретовне:

«Я постараюсь рассказать Вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида:

1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.

2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия Политехнической выставки мне заказали кантату или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция Музыкального общества мне заказала марш (сербско-русский) и т. п.

Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее.

Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идет с совершенно непостижимой легкостью. Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то, время проходит буквально незаметно...

152

Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту. Иногда победа достается легко, иногда вдохновение ускользает, не дается.

...Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделяются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз

является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является — непроницаемая тайна.

Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листке, а иногда и на лоскутке нотной бумаги. Пишу весьма сокращенно. Мелодия не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще, оба эти элемента музыки, вместе с ритмом, никогда не могут отделяться друг от друга, т. е. всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую в ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Если гармония очень сложная, то случается тут же, при скицировании, отметить и подробности хода голосов. Если гармония очень проста, то иногда ставлю один бас, иногда отмечаю генерал-басные цифры, а в иных случаях и вовсе не намечаю баса. Он остается в моей памяти. Что касается инструментовки, то, если имеется в виду оркестр, музыкальная мысль является окрашенной той или другой инструментовкой. Иногда, однако же, при инструментации изменяется первоначальное намерение. *Никогда* слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Точно так же нельзя написать симфоническое сочинение и потом подыскать ему программу, ибо опять-таки здесь каждый эпизод избранной программы вызы-

153

вает соответствующую музыкальную иллюстрацию. Этот период работы, т. е. скицирование, чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какою-то нервной возбужденностью. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и покойно. Инструментовать уже вполне созревшее и в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело.

Фазис, когда эскиз приводится в исполнение, имеет капитальное значение. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически, дополнено и в особенности сокращено, ввиду требований формы. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, т. е. совершенно урезать места, задуманные с любовью и вдохновением. Если я не могу пожаловаться на бедность фантазии и изобретательности, то зато я всегда страдал неспособностью отделять форму. Только упорным трудом я добился теперь, что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию. Итак, я не точно выразился, говоря, что переписываю сочинения прямо с эскизов. Это не только переписка, но обстоятельное критическое рассмотрение проектированного, сопряженное с исправлениями, изредка дополнениями и весьма часто сокращениями.

Как только набросан у меня эскиз, я не могу успокоиться до тех пор, пока не исполню его, а как только готово сочинение, я тотчас испытываю неодолимую потребность приняться за новое. Для меня труд необходим, как воздух. Как только я предаюсь праздности, меня начинает одолевать тоска, сомнение в своей способности достигнуть доступной мне степени совершенства, недовольство собой, даже ненависть к самому себе. Мысль, что я никуда не годный человек, что только моя музыкальная деятельность

154

искупает все мои недостатки и возвышает меня до степени человека в настоящем смысле слова, начинает одолевать и терзать меня. Только труд спасает меня».

О том, что сочинения, «принадлежащие ко второму разряду», то есть написанные по заказу, бывают иногда не хуже первых, Надежда Филаретовна знала. У нее были минуты, когда она с трудом сдерживала себя, чтобы не написать ему того, чего писать не следовало. После «Сербского марша», написанного Чайковским на заказ, она не сдержала себя:

...«Кончаю это письмо по возвращении из концерта, в котором я слушала Ваш Сербский марш. Не могу передать словами то ощущение, которое охватило меня при слушании его; это было такое блаженство, от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этой музыкой, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени *мой*, что он принадлежит мне и что этого права у меня никто отнять не может. В первый раз со времени наших отношений я слушала Ваше сочинение в иной обстановке, чем обыкновенно. В Благородном собрании мне как-то кажется, что у меня много соперников, что у Вас много друзей, которых Вы любите больше, чем меня. Но здесь, в этой новой обстановке, между столькими чужими людьми, мне показалось, что Вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне, что моей собственной силы чувства достаточно для того, чтобы владеть Вами безраздельно. В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною:

Здесь я владею и люблю.

Простите мне этот бред, не пугайтесь моей ревности, ведь она Вас ни к чему не обязывает. Это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От Вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой пере-

155

мены формы: я хотела бы, чтобы Вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на *ты*. Я думаю, что в переписке это не трудно, если Вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива. Будьте Вы благословенны за это счастье! В эту минуту я хотела бы сказать, что обнимаю Вас от всего сердца, но, быть может, Вы найдете это уж слишком странным, поэтому я скажу, как обыкновенно: до свиданья, милый друг, всем сердцем Ваша».

Вся ее любовь, и за любовью — вся ее ревность, проснулись вдруг. Уже на следующий день она повторяла себе, что она — мать одиннадцати детей и бабушка. «Бабушка, — повторяла она вслух, сжимая худыми руками голову, и все-таки мысль о молоденьких консерваторках, о том, что еще кому-нибудь пишет он письма на пяти листах, сводила ее с ума.

Но он отвечал ей от полноты сердца, и вид его конверта с итальянским штемпелем действовал на нее так, как если бы она «вдыхала эфир». Он отвечал ей:

«Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, кото-

156

рые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их...»

От того, чтобы перейти на «ты», Чайковский отказался.

XI

В Каменке все было по-прежнему — никто не разлюбил его, как он того боялся, но долго пробыть он здесь не мог, он ехал в Москву, дело о разводе требовало его присутствия. По дороге он обещал Надежде Филаретовне побывать в ее Браилове, где сейчас не было никого и куда она телеграфировала дворецкому о его приезде.

Имение это стоило около трех миллионов и приносило доходу в несколько сот тысяч рублей. Здесь был громадный, новый, с иголки дом с пристройками, сады, теплицы, пруды. Несколько фольварков были разбросаны вокруг, среди лесов, полей и рощ. Среди этого богатого приволья его встретила предупрежденная прислуга — дворецкий, лакеи, повар; ему отвели комнату с Эраром, библиотекой нот и книг. В назначенные им часы подавались изысканные кушанья, а дневной чай накрывался где-нибудь в роще, на лужайке, куда отвозила его коляска, запряженная парой лошадей (а за коляской ехал целый фургон с самоваром, посудой, столом и коврами). Он прожил здесь около двух недель, перед тем как пуститься в московскую жизнь. Здесь все было к его услугам — что-то райское, что-то сказочное было во всех этих ожидавших его желаний верховых лошадях, лодках, охотничьих ружьях, собаках, в купальне, фисгармонии, вестовых, которых он мог в любое время дня и ночи посылать на телеграф. Он писал фортепианные пьесы, посвященные Браилу, бро-

157

дил по дому, смотрел толстые кожаные альбомы, гравюры, олеографии, вывезенные из заграницы, подолгу разговаривал с попугаем (все поминавшим какую-то Матрену), потом уходил гулять, писал Надежде Филаретовне о любимых ее местах... Сирень была в цвету; сирени были целые заросли в саду и по дорожкам, вечерами пели соловьи. Он выбирал из дорожек те, где зелень была особенно свежа и густа, и там в тени, на траве, в непрерывном птичьем пении и стрекотании чего-то живого, быстрого рядом с ним, проводил долгие часы. Это была остановка перед Москвой — и во сне ему снились то белые ландыши, то большие, красные, смешные грибы, то еще что-нибудь детское.

Он уехал за день до приезда хозяйки.

В Москве вся пустая сложность, вся отвратительная суетливость затеянного дела нахлынули на него. Антонина Ивановна решительно не понимала, чего от нее требуют. Комедия состояла в том, что Антонина Ивановна, убежденная двумя лжесвидетелями в его неверности, должна была требовать суда. Но Антонина Ивановна в последнюю минуту вдруг подняла на адвоката не затуманенные никакой мыслью взоры: как, в неверности? Но ведь этого на самом деле не было! А если бы и было, то она бы простила, конечно, не стала бы на Петичку подавать в суд...

Ей было обещано десять тысяч, но она хотела их сначала получить, а потом... простить и позволить ему вернуться. Консistorский чиновник сокрушенно смотрел на Чайковского, адвокат имел вид совершенно потерянный.

Два дня в Москве, но сколько волнений! Пришлось завтракать с трепавшими по плечу и хлопавшими по животу приятелями. Оказывается, тут за это время весьма интересовались им: был слух, что он *просто* сошел с ума. Теперь все этому смеялись. От их расспросов становилось жутковато.

158

По-настоящему в Москву Чайковский вернулся только осенью, к началу консерваторских занятий.

Три недели он только и знал, что ежедневный путь со Знаменки, куда Алеша перевез его вещи из квартиры Антонины Ивановны, — в консерваторию, и боялся сделать лишний шаг по городу. Страхи начались еще в Фастове, по дороге, когда ранним утром на станции, глотнув кофе в холодном зале, он купил «Новое время» и прочел этот «Московский фельетон». Он не помнил, как добежал до своего вагона. Алеша дал ему капли, укрыл его, умолял успокоиться. Начались сердцебиение, пот, тошнота. Он долго плакал, приговаривая: «Я бедненький! Ах, Господи, какой же я бедненький!» А ночью, когда поезд несея с невероятным грохотом — Бог знает, может быть, и все шестьдесят верст в час! — и надо было держаться за койку, чтобы не сорваться, с ним приключился один из тех нервных «удариков», которых он так боялся... «Консерваторские дела... Деспотизм господина Рубинштейна (фамилия-то иностранная: неужели же русского человека не нашлось?...) ...Консерваторские интриги... Подхалимы консерваторские... Черт ее знает — вся эта московская музыкальная шайка... *Консерваторские амуры* — с консерваторками или даже еще похуже»...

Он рыдал, хватал Алешу за руки, просил рюмочку, одну только рюмочку. Алеша долго его бранил, вспоминал его капризы, все болезни его, — наконец, налил ему коньяку. И когда Петр Ильич затих, Алеша вынул гребешок и нежно, пока тот не уснул, чесал ему седую голову.

Москва по приезде показалась чужой и пустынной: в консерватории был еще летний беспорядок; сам Николай Григорьевич был в Париже, на Всемирной выставке; два-три собутельника потащили к Тестову. И больше никого. Тоска. Страхи. Сонливость и бессонница день и ночь.

Дворецкому Ивану Васильеву в доме на Рожде-

159

стенском бульваре, как и дворецкому Марселю Карловичу в Браилове, было заблаговременно приказано барыней из Парижа: если придет господин Чайковский, музыкальный сочинитель, впустить его, принять, проводить по дому, показать все пятьдесят две комнаты: рояли, библиотеку, фарфор, картины, орган, баню; если изъявит желание — оставить одного, на сколько будет угодно; если пожелает остаться, поселиться в трех, приготовленных ему, комнатах левого флигеля (со Стейнвеем) — ничем его не беспокоить, исполнять малейшее его желание, обед и ужин подавать, когда прикажет и куда прикажет. И то время, когда он будет в доме — час ли, месяц ли, — никого посторонних в дом не впускать и к нему без зова не входить. Самому дворецкому, Ивану Васильеву, подавать к столу, убирать его комнату, сопровождать его в баню...

Утром по осыпающимся медным деревьям прошумел короткий дождь, и над Москвой, перед самым полуднем, повисла широкая мутная радуга. Но к шести часам день стал ветреным и бледным (был конец сентября), и, отпустив извозчика на углу Петровки, Петр Ильич был вынужден поднять бархатный воротник щегольского пальто.

В пятницу, 29-го числа, когда встала мостом на небе эта чуть мутная радуга, он решил, что отправится взглянуть на дом «лучшего друга» — на дом, который она предлагала ему, как предложила дом в Браилове: нравится? Ну, так и живите, милый, несравненный человек!.. — она, этот ангел, которого, как настоящего ангела, он ни разу близко не видел и, вероятно, не увидит никогда.

Когда дворецкий Иван Васильев открыл высокую парадную дверь, он сразу узнал музыкального сочинителя.

— Барыня Надежда Филаретовна, — сказал он, почтительно и ловко помогая снять пальто, принимая шляпу и опытным глазом мгновенно окинув

160

красивую голову гостя, покатые его плечи и сюртук, застегнутый на верхнюю пуговицу. — Барыня Надежда Филаретовна писали из Парижа...

Неловкости Петр Ильич боялся больше всего, но неловкости не было. Распахнулись двери влево и вправо, мелькнула широкая каменная лестница, зеркальный разостлался паркет.

— Пожалуйста.

Смущен был дворецкий: в доме работали обойщики.

Три первые парадные залы были окутаны чехлами. На белом привидении стола стояло привидение канделябра, смотрясь в привидение зеркала; ковры были скатаны. Два молодца на стремянках снимали с крюка привидение люстры. Но те комнаты, в которые ход был через все эти парадные апартаменты, через гостиные, счет которым Петр Ильич мгновенно потерял, через библиотеку, диванную (три ступеньки вверх, три ступеньки вниз), те комнаты, в которых еще недавно жила она и которые теперь ожидали его, хранили свой обычный вид: в память барыниной болезненной зябкости тут горел камин, большие белые астры стояли в веджвудской вазе, и Шопенгауэр, лежавший на круглом столе у окна, был заложен черепаховой лорнеткой.

Он оглянулся. Он был один в молчании громадного, старого дома. Гостиная, спальня и туалетная комната, уготованные ему, где все дышало и звучало ею, — это была крепость, где он мог защититься от мира, — роялем, кипами нот, книгами, тенью друга, присутствующего незримо, осененный ее крылом, — или просто: у нее под крылышком. Он не знал, с чего начать: он обещал ей до всего дотронуться, сыграть на роялях, перелистать Шумана и Шопена, пересмотреть альбомы. Повторить здесь письмо Татьяны к Онегину, о котором она говорила, что, слушая его, «ощущаешь собственную свою человечность».

На камине лежал мраморный спящий мальчик, по

161

стенам висели картины. Он долго рассматривал их. Сюжет одной, вывезенной, должно быть, из Италии, показался ему мелодраматичным, но понравилась голова старика над дверью и какая-то ночная снежная дорога, чем-то напомнившая ему тему Первой симфонии. Акварели в альбомах он нашел очаровательными. И вдруг заметил, что прошел уже час, как он здесь, что он выкурил целую гору папирос и что начало темнеть.

И не успел он додумать этой мысли о сумерках, как где-то в далеке теряющихся комнат задрожал свет. Это Иван Васильев шел к нему с двумя бронзовыми семисвечниками.

Он поставил их на рояль.

— Она теперь в Сан-Ремо, — сказал Петр Ильич негромко.

— Как же-с. Я наемни получил письмо.

— Я люблю свечи. При них красивее и уютнее, чем при лампах.

— Слушаюсь, — ответил Иван Васильев, поняв это как намек, и вдруг тонко улыбнулся:

— Барыня Надежда Филаретовна, пишут, что этой зимой ни свечей, ни ламп боле не будет.

А устроят они в доме освещение Яблочкова. Как в Париже.

И он с поклоном вышел, по дороге бесшумно подложив в камин большое ясеновое полено.

Как в Париже... Боже мой, какие волнующие доходят оттуда вести! Николай Григорьевич блистает там во всем своем блеске — четыре русских концерта в Трокадеро, полный зал, овации. Впервые Чайковский на французской афише... А еще так недавно, помнится, Рубинштейн не хотел и знать его Фортепианного концерта, с издевками проигрывал в первый раз, генеральским тоном,

при Губерте, распекал, как мальчишку. Цезарь Кюи Мусоргского расхваливал и поносил «Франческу» и Третий квартет... А теперь? Да, слава идет. Ощупью, но подходит.

162

Только бы развязаться с профессорством и погрузиться в сочинительство, где-нибудь на краю света, в райском уголке, благо Надежда Филаретовна не считает присылаемых ему денег...

Кровь бросилась ему в лицо от стыда перед самим собой. Как нежно писала она ему по поводу вот этих самых русских концертов. Она была в Трокадеро, у нее была абонирована ложа. Она так волновалась, что не заметила, как произошел «страшный скандал»: труба была настроена на полтона ниже, чем следовало. Но она затрепетала даже от фальшивого аккорда — восторгом перед его музыкой, гордостью за него.

Он открыл рояль, переставил канделябры и долго играл. Он играл то, что сейчас особенно любил: «Онегина», Четвертую симфонию, опять «Онегина», потом новую свою сюиту. Прошло довольно много времени. Он перешел в большую гостиную — к Бехштейну, и там нашел Мендельсона. Там тоже стояли канделябры, и возле органа в зале тоже. И напоследок он сыграл Вебера на одном из Эраров, подняв лаковую крышку.

Иван Васильев не посмел спросить об ужине, но в синей столовой (ее любимой) на всякий случай был накрыт стол, в буфетной наготове стояли салат из трюфелей, холодная тетерка и вина. Однако музыкальный сочинитель позвонил в колокольчик не для того, чтобы велеть подавать: он попросил провести себя по дому, по этажам, лестницам и переходам, он осмотрел конюшню, баню, великолепие старого винного погреба, службы во дворе, целый флигель, отданный учителям и гувернанткам, — он обещал «сделать милым» лучшему другу ее дом, а затем, вернувшись в огромную прихожую (дворецкий нес впереди него белую лампу с рефлектором), он кинул сиротливый взгляд на дубовую вешалку.

«Домой... К себе... К Алеше...» Но прежде чем взять шляпу из рук Ивана Васильева, он будто вспо-

163

мнил что-то. Быстрой, семенящей своей походкой он опять побежал по полутемным залам, по гостиным (три ступеньки вверх, три ступеньки вниз), туда, в левый флигель.

Вот эти комнаты, полные прелести, тишины, уюта, какой-то роскошной простоты, она предлагала ему, она давала ему тайный рай в самом сердце Москвы — никто не должен был знать, что он живет здесь, только она одна: в Париже, Сан-Ремо, Флоренции будет она чувствовать его присутствие, не рядом с собой, — для этого она слишком умна и добра, а только среди вещей своих. Но нет, жить здесь невозможно — невысказанно жить в плену у женщины, страшно это, да и стеснительно как-то: ну чем все это может кончиться?... Но как трудно уйти из этого места в свою квартиру на Знаменке, к обыкновенной жизни, с делами, буднями, Алешей, Юргенсоном... А уйти надо.

Он еще раз прошел в спальню, заглянул в туалетную. Там, на умывальнике, были разложены новенькие щетки, гребенки, мыла. А у постели, на ночном столике, лежали любимые его бостанжогловские папиросы, лист нотной бумаги и остро отточенный карандаш.

И вдруг в горле у него что-то остановилось, на мгновение сжалась грудь, и тяжело, нестерпимо тяжело и душно стало сердцу. Нет, все это — забота и любовь — не для него. Он не был тем, чем она предполагала.

Когда он ушел, попрощавшись с Иваном Васильевым за руку (выяснилось, что он и по-французски говорит, и по границам ездил), и тяжелый русский болт лег поперек двери с французским замком, дворецкий отправился тушить свечи. Он делал это серьезно, слюнил пальцы и зажимал фитили. Он думал о госте, о завтрашнем своем подробном письме к Надежде Филаретовне, о том, как через месяц его на зиму выпишут во Флоренцию, и там, еще раз — и совер-

164

шенно секретно — он расскажет барыне об этом дне.

Николай Григорьевич вернулся со Всемирной Парижской выставки усталый и раздраженный: петербургские музыканты, с одной стороны, бульварная печать, с другой, травили его. Первые — за рутинность, за безвкусицу, за то, что дирижировал он в Трокадеро — в числе прочих — произведениями Антона Григорьевича и Бортнянского, а не Мусоргского и Бородина, вторые — за консерваторские порядки. Слухи шли по Москве, что он талантливым пианистам не дает

ходу из боязни соперников, что он покровительствует культу обожания его, особенно консерваторками, что на строптивых учеников он иногда поднимает руку.

Чайковский, благодарный ему за исполнение в Париже «Бури», Концерта и Серенады, обрадованный успехом, который был у Николая Григорьевича при дирижировании его вещами, осторожно начал с ним разговор об оставлении консерватории навсегда.

Николай Григорьевич знал о помощи, оказываемой Чайковскому Надеждой Филаретовной. Он даже одно время, с подлинно наивной бесцеремонностью пытался помешать этой помощи, грубоватыми намеками уверял Надежду Филаретовну (он у нее бывал), что Чайковскому чем меньше денег давать, тем лучше, — иначе избалуется, разленится, писать не будет. Когда Чайковский сказал, что хочет бросить Москву навсегда, Николай Григорьевич стал грустен, беспомощно посмотрел на него, держа за руку, — только теперь он начал чувствовать, что Чайковский перестал нуждаться в нем, в его руководстве, что он больше не подчиненный, не опекаемый, что он, может быть, тяготеет тем колесом, в котором Николай Григорьевич заставлял его бегать все эти годы, тяготеет клеткой, куда умелая рука посадила его в начале жизни.

Чайковский говорил ему, что лекции заставляют

165

его отрываться, работать урывками, что Москва сделает его мизантропом (Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию). Николай Григорьевич не раздражался, не возражал. Он понимал, что Чайковский прав, и прощание их было неожиданно трогательно. Заместить его решено было Танеевым, Сергей Иванович за этот год приобрел некоторую солидность.

Прощались, как водится, в ресторане, под речи, под выкрики, под обрывистые разговоры. Консерваторский спектакль «Онегина» назначен был на март. Все удивлялись, как много за год своего «сумасшествия» Чайковский написал: «Онегина», симфонию, большую сонату, концерт для скрипки, Литургию, «Воспоминания дорогого места», детские пьесы, романсы, «Скобелев-марш»... Теперь, в отдельном кабинете, на разбитом цыганами пианино, он играл им наброски сюиты.

На вокзале Танеев долго обнимал Чайковского с любовью. «Вы не знаете, Сережа, — говорил тот, глядя на круглое лицо, на вышитый ворот русской рубашки нового профессора, — что вас ожидает: ежедневная правка шестидесяти задач гармонических и инструментальных»...

Через Петербург он уезжал за границу. Надежда Филаретовна звала его во Флоренцию — там было приготовлено ему жилье.

XII

Последние два часа в открытое окно вагона текла такая душистая, такая лунная тосканская ночь, что когда поезд с внезапным ревом, грубо и свирепо тормозя, вошел под крышу флорентийского вокзала, Чайковский со страхом и ужасом выглянул на перрон, чтобы в свете коптящих фонарей узнать того, кто должен был его встретить. Алеша крикнул носильщика, и они стали выгружать из купе корзины-

166

ки, баульчики, зонтики, портпледы, картонку с цилиндром, модный чемодан — весь мелкий багаж русского путешественника.

— Петр Ильич! Надежда Филаретовна приказала мне вас встретить.

— Владислав Альбертович!

Это был Пахульский, скрипач, один из музыкантов ее трио.

— А я, представьте, ищу дворецкого, знакомого мне по Москве.

— Он встречает Лидию Карловну с семейством. Она приехала тем же поездом, что и вы. Они пошли к выходу.

— Надо бы извозчика или двух?

— За вами выслано ландо.

Город в этот час был безлюден и тих, но на площадях, на Понте Веккио, у дворца Питти, видны были следы недавних празднеств, бумажные флажки, пустые бумажные фонарики, память об иллюминации и фейерверке.

— У нас тут недавно было очень весело: гостил Гумберт со своей Маргаритой и двором. Иностранцев — туча.

Петр Ильич забеспокоился.

— Но теперь все вошло в колею. Только в Кашине, на гулянье, блеск умопомрачительный. Один американец катается цугом на 12 лошадях. Театры полны.

— А что ставят в опере?

— «Сальватор Роза».

Через Porta Романа они выехали за город. Это была дорога на Сан-Миньято, и тут был снят для него дом.

Когда она в письме спросила его, не хочет ли он «принести ей жертву» — прожить месяц во Флоренции, — само собой разумеется, она наймет ему дом, абонирует рояль, он не будет видеть никого, если не захочет, — он ответил согласием, и так была снята

167

вилла Бончиани на виа ле деи Колли. Сама Надежда Филаретовна с семейством жила в полуверсте. Это был дворец некоего Оппенгейма, женатого на дочери флорентийского банкира и сенатора, выстроенный лет тридцать тому назад на английский лад. Сначала ей показалось неудобным его расположение: спальни были в первом этаже, приходилось несколько раз в день подниматься по лестнице, что ей становилось все труднее, но остальное было превосходно: сад был в цветах, несмотря на конец октября; в зале прекрасно звучал рояль; внизу был даже бильярд, на котором вечерами упражнялись мальчики, а репетитор играл великолепно. Часть прислуги была итальянской, часть она везла с собой; дворецкий был выписан из Москвы.

Она предлагала ему на выбор: квартиру в городе или дом возле себя. Он выбрал второе. И теперь, когда пара серых, с подстриженными хвостами, лошадей остановилась у крыльца, и лакей, тоже в серой ливрее, спрыгнув с козел, распахнул низенькую дверцу, Петр Ильич на мгновение замер, спустив ногу к подножке: ему показалось, что лучшего места в мире нет и никогда не захочется.

Внизу был ресторан — пустующий в это время года и закрытый изнутри деревянными ставнями. Пинии и пальмы сада под лунным светом казались сделанными из воды и серебра. Дом был двухэтажным и насколько можно было заметить — на плоской крыше его была устроена терраса.

— Завтра вы увидите оттуда монастырь, кампосанто, Аппенины, — сказал Пахульский.

Слуга и повар были наняты заблаговременно, с синьором Бончиани было уговорено: ничем приезжего не беспокоить, со всеми вопросами и расходами обращаться во дворец Оппенгейма. И высокое бархатное небо, и вся эта ночь как будто просили снизить к ним приезжего человека.

Черноглазый, белозубый Гектор выбежал с покло-

168

нами, метя дорожку белым фартуком. Чайковский вошел в дом. Тут был тот особый дух итальянского тепла, который исходит от трещащих в камине оливковых веток. Ничего лишнего, безвкусного, тяжеловесного; холя и комфорт чистого, веселого и светлого жилья: гостиная, столовая, две спальни (его и Алешина), уборные комнаты. Великолепный инструмент в простенке гостиной и на нем — присланные из дворца Оппенгейма «Отечественные записки», «Русская старина», «Московские ведомости».

— А здесь, Петр Ильич, если пожелаете, книги: Надежда Филаретовна отобрала для вас: о Биконсфильде, о Бисмарке (парижское издание), критика Лароша в последнем «Голосе», переписка Екатерины с Гриммом.

— Да, да... Поблагодарите. А как она?

— Вчера получился ваш вальс для скрипки. Играли весь вечер. Юлия Карловна поджидала сестру — теперь с Лидией Карловной они начнут разучивать дуэт из «Онегина». Надежда Филаретовна очень радуется приезду внука.

— Когда пришел клавираусцуг?

— Вчера, вместе с вальсом.

— А как ее здоровье?

— Страдает головными болями, жалуется на холод... Но бывают дни, когда и гулять выходит, и в крокет играет. Сегодня ходили с ней искать того мальчика, помните, о котором вы писали в прошлом году, который так изумительно пел? Но вместо него нам все попадались взрослые бродяги да хористы из театра Пальяно.

Алеша распоряжался вещами, объяснялся с Гектором на итальяно-русском, в прежние поездки усвоенном, языке.

Петр Ильич в усталой рассеянности расстегнул жилет. Пахульский немедленно взялся за шляпу.

— Вот здесь, — сказал он, заострив свою бородку, — ваш слуга найдет русский чай и русские папи-

169

росы. Надежда Филаретовна боялась, что здешние окажутся вам не по вкусу.

— Спасибо, спасибо... Она слишком добра.

Он проводил его до крыльца. Пахульский сел и еще раз раскланялся. Лошади процокали по шоссе. Потом стало тихо. Чайковскому в тишине показалось, что земля, несаясь в ночь, тянет какую-то смутную басовую ноту.

Назавтра утром он увидел монастырь, кампо-санто, Аппенины, синеву неба, чернь кипарисов, услышал еле доносимый ветром плеск Арно. Она писала:

«Здравствуйте, мой милый, дорогой, несравненный друг! Чувствовать ваше присутствие вблизи себя это такое блаженство, которого никакими словами не выразишь»...

Он не сразу нашел, что отвечать на это. Ему нездоровилось, с дороги расстроился желудок, сосало под ложечкой, Алеша дулся на него за какой-то пустяк, и они оба долго не могли сговориться, ехать ли в город на омнибусе, узнать, нет ли на почте писем, или пойти гулять в Сан-Миньято, смотреть эспланаду, или сесть Петру Ильичу за либретто «Орлеанской девы» — скверная опера Верди не мешала ему думать о своей, — на того же Шиллера.

Наконец, уговорились пойти в город. Письма получились от обоих братьев — Моденьки и Толи. По дороге купили зубной порошок и тросточку, а когда вернулись — пошел осенний, теплый, итальянский дождь.

С этого дня началась размеренная, рабочая жизнь.

Он вставал в восьмом часу, пил кофе, листал газеты и садился за «Деву». В 11 часов он знал: она с дочерьми и Пахульским проходит мимо, гуляя перед завтраком. Иногда он не выдерживал, он знал, что она близорука. Он становился за шторой окна, пьяный от работы, с всклокоченной бородой, и смотрел на то, как она проходит. Впереди, весело тряся ушами, бежал Мураско, чудесный их пес. Потом, взяв-

170

шись за руки, с ужасным желанием нашалить, шли Соня и Милочка, до того очаровательные и живые, что слезы навертывались у него на глазах. За ними высокая, немного сухопарая, с дивными темными глазами, но некрасивая, как уверяли все (в чем и он был согласен), шла она, между дочерьми — Юлией и Лидией, за которой, если день был теплый, шла кормилица в лентах, несая ребенка. Он стоял взволнованный своими мыслями и, случалось, не отходил от окна, пока они не возвращались. Иногда она кидала быстрый, невидящий взгляд на его окна. И опять бежала собака, и детские голоса кричали «Мураско! Мураско!»

После завтрака он шел гулять и часто ходил в их сторону, чтобы слышать бойкие мальчишеские голоса за каменной оградой; резиновый мяч однажды вылетел за ворота и едва не сшиб с него шляпу; он поднял его и пустил обратно, и испытал при этом невыразимое волнение.

В 3 часа он садился за инструментовку сюиты и работал до обеда. А там закрывались ставни с прорезанным сердечком и он принимался за чтение, наслаждался тишиной, одиночеством, своими воспоминаниями.

И тогда, если ночь была ясная, опять выходили они пройтись перед сном: она, старшие дочери, зять, иногда репетитор. По близорукости она не видела прорезанного в ставнях сердечка и думала, что его нет дома, беспокоилась, надел ли он шейный платок в эту свежесть и не слишком ли устает, и куда это он вышел? Он сидел у себя, ворошил в душе какие-то медлительные мысли, слушал себя, говорил себе: «Да, я вполне свободен и счастлив, но мне почему-то грустно до слез» (это было теперь почти всегдашнее его настроение), а она шла мимо твердой мужской своей походкой, не смея поднять лорнет к его окнам, посылая Богу за него какие-то дикие, страстные, материнские молитвы.

171

Алеша носил во дворец Оппенгейма его письма и бывало, что на полпути он встречался с дворецким, несшим письмо на виллу Бончиани. Она спрашивала его, доволен ли он поваром, предлагала нового фасона абажуры, сообщала про некоего Сарасате, скрипача, и что надо бы ему его услышать. Он писал ей о своем здоровье, о том, как он счастлив Флоренцией, о петербургских

новостях, сообщаемых Модестом («4-я симфония имела большой успех», «Мусоргский — шарлатан и паяц»).

Был декабрь. К Рождеству они уезжали в Вену, а он — в Париж. Все быстрее шли укорачивающиеся дни, изредка по утрам выпадал снег и таял, и уже нельзя было наслаждаться теплым безмолвием ночного балкона. В письмах началось какое-то горькое, ласковое прощание, смутная надежда на повторение когда-нибудь этого волшебного месяца... Потом пришли оплаченные ею до 1-го января счета г. Бончиани. И накануне отъезда — билет на гастроль труппы Белотти Бон.

Он не был уверен, будет ли она в театре, но в антракте из своего кресла в первом ряду увидел и ее, и все ее семейство в ложах. Да, она была некрасива и, пожалуй, хорошо, что она уезжает: она здесь тяготила его. Все-таки весь этот месяц был отравлен страхом, что она захочет, чтобы он пришел к ней... Он смотрел в бинокль, и чувство любопытства, удивления, умиления росло в нем. Она ни разу не повернула в его сторону свое характерное лицо. Ее профиль был неподвижен. «Мне довольно того, что есть. Мне ничего больше не надо». И возможно, что это было так.

Но эта твердость и эта доброта особенно остро беспокоили его. Он и сам не знал, что такое произошло с ним дома: он кусал себе ногти в кровь, он рыдал, спрятав лицо в подушку, он потихоньку выпил стакан коньяку перед рассветом... И не разбудил Алешу, а кое-как один, в слезах и удушье, дотянул эту ночь.

172

XIII

Четвертая симфония была исполнена в Петербурге и имела еще больший успех, чем в Москве. Успех был у публики и у музыкантов — не у критики: опять обидно и несправедливо издевался над ним Кюи, Ларош уверял, что он и без этой симфонии знал, что «г. Чайковский, если вздумает, может на шуметь в оркестре никак не меньше любого композитора». В Берлине играли «Франческу» и Вторую симфонию. В Германии им теперь интересовался не только десяток специалистов, как было в Байрейте на представлении «Нибелунгов», когда с визитом ходил он к Листу, или как было в Париже при чуть-чуть унижительных встречах с Сен-Сансом. В Германии начиналась его слава — этим обязан он был Гансу фон Бюлову, неожиданно в Москве, во время своих концертов, прельстившемуся его музыкой, дирижировавшему «Бурей» в Америке и Лондоне, заставившему немецкую музыкальную печать обратить на Чайковского внимание.

Бюлову был посвящен фортепианный Концерт, сперва посвященный Николаю Григорьевичу, но после ссоры из-за трудностей концерта у него отнятый. Та же судьба постигла теперь скрипичный Концерт — Ауэр находил его неисполнимым, и Чайковский вместо Ауэра выставил в посвящении имя Бродского.

«Бурей» дирижировал и Колонн в Париже, и Чайковский бросился в Париж — незаметно из дальних кресел партера прослушать ее в Шатлэ. Это было мучительно и взволновало так, что он несколько часов шатался ночью по городу, пока не вернулся в отель Мерис с сильнейшей головной болью. Сначала показалось очень приятным видеть свое имя расклеенным на парижских заборах, но уже накануне от волнения у него началось что-то вроде дизентерии. В концерте, после «Реформационной симфонии» Мен-

173

дельсона, он почувствовал, что вот-вот умрет, что сердце не выдержит такого клокотания в груди. Он боялся обратить на себя внимание соседей.

«Буря» казалась ему до этого вещью «блестящей». Теперь он услышал, до чего она незрела, как плохо звучал оркестр, как «программно» было все, от начала до конца, и, значит, как фальшиво. Положительно он не мог больше слушать своих прежних вещей — злоба на себя поднималась в нем: «Опричника» ему было стыдно уже на премьере, в «Вакуле» в последнее свое пребывание в Петербурге он разочаровался до слез. Неужели он никогда не будет наслаждаться тем, что написал?

Разучено все было очень тщательно. Публика аплодировала и свистела в меру. Он видел в ложе Надежду Филаретовну. У нее были свои виды на Колонна: Надежда Филаретовна думала о том, как и сколько Колонну предложить за исполнение Четвертой симфонии...

В этот раз Париж растревожил его сильнее обычного: сам город стал другим от электрического света, нарядный, шумный, как никогда. Он помногу гулял поздно вечером и

ночью по все еще праздничным улицам, сохранившим свой блеск от недавно закрывшейся выставки, — сам нарядный, в сером цилиндре, лиловых перчатках и с коралловой булавкой, воткнутой в шелковый пластрон. Театры были полны, жизнь здесь с осени не унималась. В концертах он бывал несколько раз, прослушал «Фауста» Берлиоза, ходил в Пале-Рояль. Но, как всегда, и на этот раз уехал отсюда с облегчением: «Орлеанскую деву» он писал с увлечением давно небывалым.

Неужели, думал он, и эту оперу будет ему стыдно и унижительно слушать когда-нибудь, и придется сжимать поручни кресла и прятать в темноте зала расстроенное лицо? Он писал ее с жаром иным, чем писал «Онегина», — он большего ждал от нее в сценическом смысле. Шиллер, книга Валлона, драма

174

Барбье, либретто Мерме были им изучены тщательно — на этот раз он сам писал либретто, с обычной своей небрежностью к тексту, воображая, что напишет не хуже второстепенного литератора. «Трудности, — писал он Модесту, — не в отсутствии вдохновения, — а напротив, в слишком сильном напоре одного. Мной овладело какое-то бешенство; я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало. Мне хотелось в один час сделать все, как это бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк и дойдя до процесса *abjuration** и самой казни (она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтобы ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся...»

На эту работу уходили такие силы, что порою он в изнеможении почти падал на прогулке, и приходилось вызывать коляску, чтобы везти его домой. Порою дикий, безрассудный восторг охватывал его. Он садился за фортепиано и играл по черновикам, заливаясь слезами, — потом выходил на балкон, все в том же Кларане, где опять жил, и там дышал нежной ночью, пока не успокаивался в нем этот восторг. Он помнил, что год назад, в Браилове, однажды вот так же ночью, в слепом восторге, играл себе самому «Онегина». Об «Онегине» из Москвы ему писали, что Николай Григорьевич и все участники спектакля от оперы в восхищении...

В первый раз он прослушал его на генеральной. Он приехал в театр прямо с поезда и в темном углу почти пустого зрительного зала слушал молодые ученические голоса, смотрел на движения, еще не отравленные театральной рутинной. Молоденькая Климентова была очень хороша, естественна и от природы

* Отречение (*франц.*).

175

наделена чудесным голосом; остальные были недурны. Видно было, что все, что сделано здесь, было сделано с любовью — об этом говорил и Николай Григорьевич, и дирижировавший оперой Танеев, прослезившийся после первого действия, и Кашкин, сидевший рядом и молча, больно жавший ему руку.

К первому представлению, к семнадцатому марта, приехал из Петербурга Антон Рубинштейн, и спектакль вышел очень торжественный. И хоть успех был самый средний, но лавровый венок на Чайковского все-таки надели, сказали ему речь и заставили на нее ответить. Больше всего аплодисментов вызвали куплеты Трике.

На этот раз бесцеремонность Шиловского и легкомыслие самого Петра Ильича ожидало наказание: приделанный «счастливый» конец — Татьяна, падающая в объятия Онегина, — возмутил очень многих: Тургенев, Катков требовали изменить это «кошунство», и Чайковский, спохватившись, переделал всю сцену. Печать отдала должное «музыкальности» и «интимности» произведения. Антон Григорьевич пожал плечами и, вернувшись в Петербург, объявил, что «будничное либретто погубило всю оперу».

Но для Чайковского «суд людской» сейчас уже был не тем, чем был когда-то. И то, что Антон Григорьевич его не оценил, и то, что Ларош говорил про три анданте подряд, — мало трогало его. Он прожил больше года вдали от людей, и никаких чувств не осталось в нем к бывшим друзьям, а вместе с чувствами исчезло в нем и любопытство к ним. Сейчас все, что было в нем живого, сосредоточено было на инструментовке «Девы», на обработке сюиты. Человеческая зависть, человеческая тупость, как бы они ни проявлялись, почти перестали задевать его.

Единственное, что по-прежнему лишало его равновесия, что доводило до припадков бешенства, это были напоминания о себе Антонины Ивановны. В Петербурге, весной 1879 года, она несколько раз

176

ловила его и неожиданно даже сняла себе комнату в одном с ним доме. Как променяла она когда-то роль жертвы на роль хищницы, так сейчас превратилась во все забывшую и все простившую покорную жену.

«Дорогой мой Петичка! — писала она ему и подбрасывала письмо под дверь. — Что с тобой, что ни тебя, ни какой весточки от тебя нет? Уж не нездоров ли ты? Приходи, мой хороший, навести меня. Мне, впрочем, было бы очень грустно, если бы ты пришел только для того, чтобы отделаться от меня, сделав бы как будто церемонный визит. Я знаю, что ты меня не любишь, что меня мучает, терзает и не дает покоя никогда. Так ты, по крайней мере, убедись твердо в том, что ты для меня составляешь все в мире. Никакие силы не заставят меня разлюбить тебя, относись же ко мне хотя бы с сожалением. Я принадлежу тебе душой и телом — делай со мной, что хочешь... Поговорим хоть как настоящие муж и жена. До сих пор Бог знает, какие у нас были отношения... Целую тебя бесчисленное множество раз, хотя заочно. Я знаю, что ты не очень-то любишь, когда это делается на самом деле... В Знаменской гостинице очень дорого, и потому мы переехали в тот же дом, где и ты, но совершенно нечаянно. Не пугайся же, что я тебя преследую».

И опять она приходила и что-то кланчила, торговалась из-за ста рублей, притворялась, что понимает процедуру развода и согласна на нее. И несколько раз невразумительно намекала, что знает, что у Петички роман с богатой женщиной, с женщиной, которая подсылала к ней, желая от нее откупиться, — с миллионершей фон Мекк.

Если он бывал раздражен, он гнал ее, замахиваясь на нее чем ни попало. Если бывал в сравнительно спокойном состоянии, то высылал ей с Алексеем пять или десять рублей, не впуская ее в комнаты. Все равно он опять решил скрыться из обеих столиц, ничто его не удерживало здесь. Надежда Филаре-

177

товна исподволь подготовила его согласие: прожить у нее на фольварке в то самое время, как она будет с семейством в своем Браилове.

XIV

Ласточек было так много, что в пасмурный день над рекой стоял долгий, острый писк от их стелющейся стаи. С реки они мчались в сад, прятались в деревьях, выносились оттуда, чертили зигзаги по дорожкам и опять, мгновенно слетевшись, уносились в пшеничное поле. Зато в жаркий и ясный день здесь бывала такая тишина, что с балкона было слышно, как бежит в траве ящерица. Ни шума, ни музыки. Таким представлялся Чайковскому рай, только так он мог слушать себя.

Он до сих пор не знал, что можно писать в саду, в зелени. Здесь все оказалось таким же устойчивым, как и в комнате. Под балкон выносился маленький столик, столик качался; садовый стул качался тоже, дрожала тень листьев под рукой, трепетал теплый воздух — и во всем этом дрожании, в этом трепете была та именно прочность, которую он всю жизнь искал.

Москва была ему слишком шумна, деловита; после женитьбы она пугала его: «Маньяк я, маньяк, никто меня не преследует, а все мне чего-то страшно», — сколько раз повторял он себе. Петербурга он не любил: правда, там жили братья, Модест и Толенька, но Модоша с каждым годом все больше становился похожим на него, и как они знали друг друга! У Толеньки была своя жизнь — карьера, женщины, свет. Заграница? В прошлом году, во Флоренции, он жил в полном блаженстве, но Италия слишком роскошна, тянет в Рим, в Венецию, тянет невесть куда, слишком ярко все и пестро, и великолепно. Был еще Кларан. О, это *его* место. Швейцарская деревушка,

178

вечно пустующий пансион. Вот только далеко от России, опять не то... Может быть, Каменка? Семья сестры, чудесные люди, Боб — племянник, очаровательный, обожаемый мальчик. Но что-то за последнее время изменилось в семействе Давыдовых: стареет, болеет сестра, взрослеют дочери, не то, что было три года тому назад. Само Браилово? Роскошное, слишком роскошное имение Надежды Филаретовны — слишком новое, чинное и величественное, — где он гостил уже несколько раз в ее отсутствие, стесняясь лакеев... Нет, лучше Симаков, лучше этого, в трех

верстах от Браилова, брошенного фольварка, нет ничего. Здесь он хочет, чтобы о нем, наконец, забыли, пока он сам не напомнит о себе.

Дом был приземист и стар, но уютен, чист и просторен. В саду было столько цветов, что в солнечный день это было какое-то пиршество, пчелы хмелели над огромными клумбами левкоев, гелиотропа, роз, резеды. Направо от сада, мимо старого колодца и огородов, шла дорога низом вдоль заросшего тростником болота, к крошечной рощице; дальше росли попеременно огромные старые ивы и тополя, и здесь была та удивительная русская болотистая, полевая прохлада, из которой порою до вечера не хотелось уходить. Село. Скромная церковь, белая с зеленым, за нею — лес, лес, лес, из которого домой возвращался он уже другою, верхней дорогой, сначала берегом реки, потом межой, сквозь поле, дотягивавшееся до самого сада.

Он возвращался к себе, опять садился на балконе в кресло, и вновь глядел на поле, на блестящую закатной краснотой реку, на дальние, лесистые холмы, глядел и не мог наглядеться. Та грусть — беспричинная, сладкая, мучительная, — которую он так любил и которая находила на него только в самые счастливые минуты жизни, начинала медленно как бы сжимать его, душить его, играть с ним, терзать его.

179

Этот далекий вид, вековые в саду деревья, старый и милый, отданный в его распоряжение все той же нескудеющей рукой дом, этот вечер, звуки ночи, молодой, незащищенный в звездном небе, месяц — все так трогало и без того размягченное сердце. Он не то чтобы слышал, как подходит старость, но он чувствовал, как отходит молодость. Да, он думал о том, что большая часть жизни прожита, что кое-что в ней невосвратимо. Вдруг приходила мысль о том, что было бы счастьем выдать одну из племянниц — Наташу или Анну — за одного из сыновей Надежды Филаретовны и что надо бы ей об этом написать. Он думал о ее письмах, которые здесь, как и всюду, продолжали приходить почти ежедневно, о своих ответах. Он думал о том, что устает иногда писать ей о себе и своей музыке, потому что недоволен собой в последнее время: «Марш миниатюр» есть просто «миниатюрное дрянцо». Сонаты Бетховена, которые она ему по его просьбе прислала, расстроили его вконец: ну стоит ли еще писать после этого? При мысли о Моцарте слезы вставали в глазах — где ему! Ведь это чудо, чудо, а он со своей Жанной д'Арк опять, вероятно, провалится, как провалился когда-то с «Вакулой»... «Ундина», «Опричник», «Воевода» — да ведь это «уголовные преступления», за которые стыдом предстоит казниться всю жизнь. Да что Моцарт, Бетховен! Ему до Визе, до Массне никогда не дойти...

И он бросал папиросу, бросал карандаш, которым чертил что-то на книге, газете, письме, он брался за подрубку кухонных полотенец — это его успокаивало.

Он приехал сюда в начале августа, окончив третье действие «Орлеанской девы», которую любил, как всегда любил последнюю свою вещь, в которой сомневался и в которую все-таки верил, потому что знал, что мелодия, приходящая к нему неразрывно с гармонией, есть залог настоящей музыкальной силы и правды. Теперь он работал над инструментовкой

180

оперы. Работать он мог много, усидчиво, распределив день на правильные промежутки — писание, обед, прогулка. В трех верстах — он старался не думать об этом — жила она, дети, гости, там текла летняя, шумная усадебная жизнь, оттуда иногда являлся Пахульский с нотами и журналами, — Петр Ильич почти не замечал его. У него здесь была четверка лошадей и кучер. Днем он иногда ходил купаться, иногда садился в лодку с Алешей, но чаще, часа в три, запрягался шарабан, и он один ехал в лес, и туда, через час, приезжал в плетенке Алеша со старым лакеем Леоном, они ставили самовар, раскидывали в любимом его месте скатерть и готовили чай.

Встретиться он ни с кем не мог — он знал, что в Браилове обедают в 4 часа. Однажды Пахульский предложил привести к нему младшую дочку Надежды Филаретовны — Милочку, которой он когда-то любовался во Флоренции.

— Ради Бога, пусть все останется так, как было! — почти вскричал он, побледнев. И на этом разговор кончился. Он подозревал, что в Браилове тоже боятся встречи с ним.

Но эта встреча произошла, и для того, чтобы это случилось, надо было очень немного: только небольшого опоздания к обеду трех колясок, трех браиловских троек. Он, как обычно, въехал в лес на своем послушном, почтенного возраста, гнедом, и на повороте, там, где была порубка, прямо на него свернул широкий, комфортабельный экипаж. Он дернул вожжи. Она сидела вдвоем с Милочкой. На ней была узкая тальма, клетчатая косынка вокруг шеи; она держала в своей руке маленькие руки дочери. Ему бросились в глаза Милочкины ножки в

кружевных узких панталончиках. Он не посмел отвести глаз, и в первый раз в жизни взоры их встретились. На одно мгновение... Он смутился и снял шляпу. Она изменилась в лице, растерявшись, как девочка, почти не успев ответить на поклон. Лошади прошли мимо

181

него, потом мимо него проехали еще два экипажа, — там, кажется, смеялись молодые женские голоса. И все стихло. Он сошел, вздохнул глубоко, чтобы прийти в себя, и медленно пошел под березы, ворошить мох, искать грибы. Сделав круг, он вернулся к порубке, пошел влево, вышел на поляну. Там уже расставлялись стаканы, резался белый домашний сыр. И верховой из Браилова успел уже доставить ему почту: почту Надежда Филаретовна посылала ему в лес, к чаю, и где бы он ни был — посланный должен был его найти.

Он разволновался еще раз вечером, а волнения отражались у него на всем: на отношениях с Алешей, на аппетите, на сне, на сердце, на желудке. Особенная вдруг нападала слезливость, он сам себе становился так жалок. На следующее утро он писал Моде в Петербург: «у меня опять была истерика» или «я ревел вчера весь вечер». Утром он бывал равнодушен, спокоен, но вечером, ночью он готов был кричать от ужаса перед жизнью.

Почему? Он и сам не знал: он начинал думать и ни до чего не мог додуматься. Ведь все складывалось, как он хотел: он был оберегаем от мелких и крупных забот, он сам себе был хозяин, он делал, что хотел, и жил, где хотел, у него было все, чего он только мог пожелать, и все-таки вечерами он знал такую невыносимую тоску, от которой хотелось выть, закрывши окна и двери.

27 августа в Браилове был назначен большой бал и праздник с иллюминацией.

Теперь, на третий год их переписки, было ясно, что она никогда не потребует иной дружбы с ним, кроме как в письмах, и он на этот счет успокоился совершенно. Но то, что она все-таки живой человек, а не тень, с которой у него ведется нескончаемая, взволнованная беседа, продолжало его тревожить, больше, чем когда-либо. Он сам не знал, что ему хотеть — иногда он только и мечтал, чтобы быть «у

182

нее под крылышком», иногда он бунтовал против ее строгой, сильной воли. Она понимала его так, как ни один из его друзей — музыкантов, поэтов, простых смертных, знала его почти как брат Модест, и все-таки чего-то основного она в нем не знала, если могла так глубоко и беззаветно любить. «Тут рок, — говорил он себе в самые ясные свои минуты, — рок славы моей, тайны моей, моего человечества». И недодумав, опять впадал в болезненную апатию, ему казалось, что только смерть может разрешить его жизнь, а не люди, не чувства, не он сам; и даже не его творчество.

27 августа, поздно вечером, он вышел из дому и отправился в Браилово.

В парке была устроена иллюминация, против дома горел и шипел круглый вензель, тут пускался фейерверк. Все были в сборе. Было человек тридцать — детей, взрослых, гувернанток, гувернеров, слуг, гостей. Чайковский стоял за беседкой, у пруда, и смотрел не отрываясь, все время боясь, что две большие собаки, бегавшие вокруг пруда, учуют его. До него доносились пение, русская и французская речь (он явственно слышал, как картавила Соня); петарды рвались снопом разноцветных искр, мальчики кричали от удовольствия, но их, видимо, не подпускали близко. Потом зажегся волшебный в зелени малиновый бенгальский огонь, и вдруг кто-то вышел из светлого круга и близко прошел около него. Это была Надежда Филаретовна. Ее тяжелое шелковое платье прошумело по аллее. Она была с дочерьми.

Чайковский вздрогнул, но не ушел. Собаки, какая-то трещотка, раздававшаяся временами совсем близко, приводили его в трепет. В полном мраке стоял он и смотрел. В пруду отражались золотые ракеты, взлетающие в небо, там, за деревьями, мелькали силуэты людей. Он боялся, что кто-нибудь из слуг примет его за вора. Минутами он начинал дрожать, становилось сыро.

183

И вдруг из дома, из открытых окон, полился вальс из «Онегина». Это молодежь пошла танцевать в большую залу.

— Петр Ильич, да никак вы здесь! — схватился за него Алеша. — Да вы что же это? Завтра больны будете. Разве ж можно? Мокро совсем.

Чайковский не вырывался.

— Ищу вас три часа, все кругом исходил. Думал, в реку упали.

И он повлек его за собой.

Но, может быть, все-таки это была ловушка? Иногда Чайковскому казалось: она ждет его, тайно требует его прихода. Она и правда все делала для того, чтобы он пришел: жила там, где жил он, и в то же самое время; в Париже — где между ними еще меньше было расстояния, чем во Флоренции, — она вдруг, ссылаясь на нездоровье, начинала реже писать ему, просила и его «не утомлять» себя, писать не чаще, чем раз в неделю, словно толкала его заменить переписку — свиданием. Самый голос ее в письмах становился менее сдержанным: если в начале она несколько раз говорила ему о своем чувстве больше, чем следовало, то тут же просила отнести это за счет горячности своей природы. Теперь несдержанность стала основным тоном ее писем, и тем осторожнее и суше делался в переписке он.

Он начинал бояться, что потеряет свою свободу — или потеряет денежную помощь Надежды Филаретовны, что было, может быть, еще страшнее. Модест, недавно встретивший Надежду Филаретовну на улице, впрочем, писал ему, что она «сделалась старенькая». Он боялся, что она узнает о нем «всю правду», разлюбит, прогонит от себя. Подозрения о нем у нее были: она, умнейшая из женщин, считала, что он никого никогда не любил только потому, что *не нашел* еще той женщины, которую любить стоит, мечтала, что ему, такому, каков он есть, и не нужна будет никакая другая женщина — если она поддержит с

184

ним эту страстную переписку.

«Я всю прошлую ночь видела Вас во сне, — писала она теперь, — Вы были такой славный, мое сердце рвалось к Вам...» «Какое счастье чувствовать, что Вы находитесь у *меня*, que je vous possede»*... «Если бы Вы знали, как я люблю Вас. Это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение...»

Сквозь ее насыщенную семейными и деловыми заботами жизнь проходила эта любовь — неосуществимая, одинокая, — единственным выражением которой были письма, единственной реальностью — жизнь вблизи Чайковского. Она считала дни от Браилова, где он гостил, до Неаполя — где должен был быть одновременно с ней; от Парижа, где она сама сняла ему квартиру, до Москвы, где он мог пройти мимо ее дома. Она старела и безумствовала, и иногда сама не понимала, что с ней происходит. Бывали дни, когда в ней просыпалось что-то материнское к нему, и ей от этого чувства становилось еще больнее:

«Мне так хочется все знать, что Вас касается. Я жалею, что я не знала Вас с самой колыбели, что Вы не на глазах у меня выросли, развивались».

В семье ее смутно знали о ее отношении к Чайковскому, считали ее неисправимой меценаткой. Она и впрямь помогала бедным, безвестным молодым музыкантам: в доме ее жили окончившие консерваторию скрипачи и пианисты. К Чайковскому, впрочем, ее близкие вскоре начали относиться с особенным уважением.

Ее дочка Милочка научилась целовать его портрет, стоявший у нее на столе, окруженный ландышами (его любимые цветы); сын Коля разучивал вместе со старшими сестрами его романсы. В минуты самых страстных своих желаний, доводивших ее до полной потери власти над собой, она подменяла в письмах

* что я Вами владею (*франц.*).

185

поклонением его музыке свое неистовство к нему:

«Мой милый обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я все-таки не хочу освободиться *ни за что*, и Вы сейчас поймете почему. Два дня назад я получила четырехручное переложение *нашей* симфонии и вот, что приводит меня в такое состояние, в котором мне и *больно* и *сладко*. Я играю — не наиграюсь, не могу наслушаться ее. Эти божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что эти две ночи я провожу без сна, в каком-то горячечном бреду, и с пяти часов утра уже совсем не смыкаю глаз, как встаю наутро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как Вы умели изобразить и *тоску отчаяния*, и *луч надежды*, и горе, и страдание, и все-все, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою, как музыкальное произведение, но близкою и дорогою, как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии так оценить ее, как я, музыканты могут оценить ее только умом, я же слушаю,

чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать ее, я умру, а все-таки буду слушать. Вы не можете себе представить, что я чувствую в эту минуту, когда пишу Вам и в это время слышу звуки *нашей* божественной симфонии.

...Можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных сношений между нами? Знаете ли Вы, что я ревную Вас самым непозволительным образом: как женщина — любимого человека? Знаете ли, что когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о Вашей близости с этой женщиной была

186

для меня невыносима, и знаете ли, какой я гадкий человек? — я радовалась, когда Вам было с нею нехорошо; я упрекала себя за это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заметить, но тем не менее уничтожить его я не могла: человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с ней нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла от меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что *люблю Вас*, как никто, ценю выше всего на свете. Если Вам неприятно все это узнать — простите мне эту невольную исповедь. Я проговорила — этому причиной — симфония. Но я думаю, и лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как Вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений. Я не хочу в них *никакой* перемены, я именно хотела бы быть обеспеченною, что *ничто* не изменится до конца моей жизни, что *никто*... но этого я не имею права говорить. Простите меня и забудьте все, что я Вам сказала... Простите и поймите, что *теперь* мне хорошо, что мне ничего больше не надо...

Ожидая его прихода и боясь, что это случится, она всю силу своей любви обращала на то, чтобы сохранить его пленником на расстоянии. Иногда она принималась рассуждать в письмах о любви. У нее было твердое убеждение, что брак — всегда несчастье, что «близкие отношения» — конец любви. Она писала, что, быть может, называет дружбой то, что люди называют любовью, но не хочет говорить о любви, когда дело идет о себе, потому что любовью называют люди глупое и обреченное чувство юных влюбленных, чувство, питающееся свиданиями, прикосновениями, то есть всем тем, от чего гибнет любовь. Ни в жизни, ни на сцене юные влюбленные ее никогда не трогали. Из всех чувств она признавала только одно свое чувство к Чайковскому, и в этом

187

чувстве, сводившем ее с ума, питавшемся его музыкой, она хотела навеки замереть в нестерпимом, блаженном одиночестве.

«Сегодня буду играть в четыре руки Ваши сочинения, буду восхищаться и возбуждаться...»

Он был благодарен за все, постепенно привык не дрожать за свою свободу и даже именно в продолжении своих отношений с Надеждой Филаретовной отчасти увидел эту свободу — материальную свою независимость. Консерватория была позади, расчеты с Юргенсоном шли своим порядком, за исполнение вещей он получал причитавшиеся ему деньги. Он теперь жил, как гран-сеньор: писал, путешествовал, от времени до времени делал долги, наезжал в Россию, когда бывало необходимо, не отказывал себе в удовольствиях — иногда порочных, всегда дорого стоящих, баловал себя и близких, которых было не так много, но к которым он питал слезливую, беспокойную любовь.

По-прежнему это были братья, Алеша, семейство Давыдовых. Он с беспокойством и грустью замечал начинавшийся среди всех этих людей распад: Анатолий был накануне женитьбы, Модест, уже несколько лет не принадлежавший себе, жил у Конради, появлялся только изредка, как тень, из небытия. Сестра Александра Ильинична болела печенью и впрыскивала морфин — отчего в ней появилась ненормальная экзальтация, сменявшаяся полным упадком сил, а в доме — тот унылый и скрываемый от посторонних дух, который бывает, когда в семье запойный пьяница. Подросли девушки, красавицы и тоже немного истерички, и тоже не прочь от морфина. Они болеют, нервничают, им душно в деревне, им подвертываются неудачные женихи. Среди всего этого тяжелого и печального семейного беспорядка растет Боб, который пока еще ребенок, мальчик, к которому еще нельзя Чайковскому приблизиться, которым нельзя завладеть целиком, на него можно

188

только любоваться, наезжая в Каменку.

Он делает успехи в музыке и — кто знает! — быть может, будет музыкантом. Он замечательно рисует, он поэт, он пишет стихи. Он терпеть не может обычных мальчишеских игр и драк. Он питает страсть к цветам, хочет быть ботаником и собирает гербарий. Он не знает, что лучше — птицы или бабочки, вся его жизнь полна восхищения перед всем, что он видит.

И Каменка не та. Удрученный хозяйственными заботами, не тот Лев Васильевич; зимой младших девочек везут в институт, старшие мечтают о столице, капризничают, дурнеют. Посреди Давыдовского неблагополучия Чайковский остается внезапно один: Алешу призывают на военную службу.

Алеша поступил к нему мальчиком. Сперва научился русской грамоте, потом (с великим трудом) отличать музыку барина от всего остального, потом французскому произношению. Это был не только слуга, это была нянька, это была необходимость в жизни, утешительная, успокоительная, без которой все прочное становилось зыбким, без которой все простое усложнялось мучительно. Как любовь его к Бобу посторонние люди принимали за любовь к детям вообще, так его любовь к Алеше (иная, будничная, но тоже сладостная) могла быть принята за любовь к простому народу. На самом деле он любил не народ, а то простое, здоровое и веселое, что было в таких молодцах, как московский извозчик Ваня, банщик Тимоша, слуга Кондратьева Легошин, клинский мальчик Егорушка, Саша-просвирник, и что в Алеше соединилось с безграничной преданностью. Он теперь лишился его на несколько лет.

Он предчувствовал, что Алеша вернется чужим, огрубевшим в казарменной жизни. Он предчувствовал, что останется один, никем не сможет заменить его. С Чайковским вечером, в день разлуки, случился один из самых сильных припадков, какие были в жизни, — обморок, крики, конвульсии. И много

189

месяцев после этого он не мог успокоиться.

Он наезжал в Москву — видиться с Алешей, хлопотать за него. Он писал ему полные тоски и нежности письма. «Голубчик мой, Ленья, — писал он. — Получил сегодня утром твое письмо. Мне и радостно и грустно было читать его. Радостно, потому что хочу иметь часто известия о тебе, а грустно потому, что письмо твое растревляет мою рану. Если бы ты мог знать и видеть, как я тоскую и страдаю оттого, что тебя нет! Вчера ездили в лес и там нас смочила гроза. Когда я вернулся и вошел переодеться в твою комнату, мне вдруг так живо вспомнилось, как, бывало, я радовался, возвратившись домой, что вижу твое милое для меня лицо. Мне вспомнилось, как ты, бывало, бранил меня за то, что испачкаю платье, и так грустно, так грустно стало, что я заплакал, как ребенок. Ах, милый, дорогой Ленья! Знай, что если бы ты и сто лет остался на службе, я никогда от тебя не отвыкну и всегда буду ждать с нетерпением того счастливого дня, когда ты ко мне вернешься. Ежечасно я об этом думаю. А покамест, голубчик мой, буду ждать сентября, а уж если очень соскучусь, так хоть в Москву приеду... Все мне постыло, потому что тебя, моего дорогого, нет со мной».

Но хлопоты перед высочайшими особами были безуспешны. Алеша был на время потерян. Надо было в житейском хаосе — прачек, отельных хозяев, кондукторов, почтальонов — разбираться теперь одному.

Высочайшие особы, выезды в свет, отношения с дирекциями Императорских театров — все это внезапно вновь наплыло на него: постановка «Онегина» в Москве, постановка «Девы» в Петербурге, концерты, где с настоящей, шумной славой прошло его «Итальянское каприччио», где Николай Григорьевич блистал с его Grande Senate, исполнение Обедни, — все обязывало его «не вылезать из фрака», знакомиться с великими князьями, наносить визиты раз-

190

ным сановным дамам. К 1880 году многое изменилось в России в отношении к нему: его постоянные заграничные поездки придали ему некоторый блеск в глазах соотечественников, его отдаление от музыкальной жизни Петербурга и Москвы только возбуждало всеобщее любопытство. Он почувствовал некоторое успокоение, когда ему сказали, что Антонина Ивановна сошлась с кем-то, прижила ребенка и отдала его в Воспитательный дом. Ее просьбы о деньгах он исполнял как мог — денег по-прежнему, и больше прежнего, не хватало никогда: у Надежды Филаретовны все было забрано вперед за полгода.

К этому времени у него появилась некоторая медлительность в повадках и привычка «делать себе лицо» — не допускать, чтобы посторонние зрители могли заметить малейшее «собственное» его выражение, — только то, которое он сознательно им подносил. Как могло быть иначе? Когда

он появлялся на репетициях «Онегина», оркестр вставал ему навстречу, певцы и певицы его приветствовали. В ресторане его теперь сажали по правую руку от Николая Григорьевича, а в Петербурге Направник говорил ему короткие и сухие любезности — других не знал. С музыкантами Петербурга он встречался уже не как «шестой», а как совершенно чужой, но почтенный композитор, не ища их одобрения, а лишь требуя вежливости за собственную, несколько каменную корректность. За эти три года, пока он метался по Европе, он стал в России почти знаменит. От того дня, как впервые в Москве была сыграна Четвертая симфония, до января 1881 года, когда были поставлены «Онегин» и «Дева», его имя обросло славой, той самой славой, о которой когда-то он самолюбиво мечтал, которую одно время устал ждать, о которой ревниво думал всю жизнь.

С премьеры «Онегина» из Москвы он метнулся в Петербург, к премьере «Орлеанской девы». Опять куплеты Трике вызвали взрыв восторга («Надо было

191

оперу назвать не «Онегин», а «Трике», — шутил он). Были подношения, крики восторга, все то необходимое, утомительное и, конечно, приятное, что бывало и до того, — ему показалось, однако, что он ошибался, когда думал, что опера эта не сценична; может быть, все-таки, думалось ему теперь, она выдержит не один десяток представлений? С волнением слушал он и петербургскую премьеру, он помнил, что сочинял «Деву» с большим расчетом, с меньшим самозабвением. Но и тут зал дрожал, и его выносили на руках, и топали в проходах люди.

На этот раз Ларош был в Париже, опустившийся, растолстевший, с какой-то сомнительного поведения женщиной. Но Кюи и десяток других рецензентов помельче встретили его более снисходительной бранью, чем обычно. Так повелось уже несколько лет, что критика всякий его успех называла «Succes d'estime»*, всякую новую вещь считала хуже предыдущей, — за которой, в свое время, тоже не признавалось никаких достоинств. Но публика не считалась с критикой и судила импульсивно, иногда капризно, иногда слепо, с горячностью и искренностью подлинного увлечения.

XV

Это был Париж.

Дождь обливал поднятый верх фиакра, лошадь цокала по мостовой, женщины поднимали юбки, скользя по лужам; зонтики, зонтики, огни, звуки «Марты» из какого-то трактира; цветной жилет, цилиндр, борода — сомнительный субъект предлагает недозволенные увеселения... Но вот фиакр с площади свернул в широкую улицу. Обогнали дребезжавшую конку. Шатле. Здесь в прошлом году

* Умеренный успех (*франц.*).

192

Колонн дирижировал его Четвертой симфонией — с этого началась его заграничная слава. Надежда Филаретовна щедро заплатила Колонну. Чайковский скрывал, что Колонна пришлось купить...

Он решил остановиться в гостинице на улице Риволи. Ему было все равно, где остановиться. Он здесь не задержится на этот раз. Мог ли он думать, что очутится вдруг в Париже? Мог ли он вообще предполагать, что этот март, который он предполагал прожить в Неаполе, окажется таким беспокойным? 3-го, вечером, явился к нему князь Щербатов.

— Государь убит!

Они вместе бросились к великим князьям. Сергей Александрович сохранял спокойствие, но Павел Александрович лежал в нервическом припадке и поутру едва мог сесть в вагон — его ввели под руки. Чайковский несколько дней пробыл в большом беспокойстве. Итальянские газеты писали, что в России — революция. Но вот пришло «Новое время». Злодеи были пойманы. Среди них была дочь генерала Перовского.

Чайковский, несмотря на это, все-таки успел съездить и в Сорренто, и на Капри. Это было восхитительно! В мире не было ничего прекраснее этой голубизны, этой весны, этой упоительной мягкости сладчайшего в мире места. Потом (они сидели с князем за безиком) пришла телеграмма от Юргенсона: «Рубинштейн выехал в Ниццу. Очень плох».

Он прожил там два дня. Никто ничего не мог ему здесь сообщить нового. Тогда он телеграфировал в Париж — на авось — в «Гранд-отель», где Рубинштейн мог случайно застрять, где его хорошо знали. Ему ответила Третьякова (жена московского городского головы): с пятого марта Николай Григорьевич был в Париже и дальше ехать уже не мог — он был безнадежен.

Старый друг, старший друг, умирал в Париже, окруженный женщинами, для которых всю жизнь

193

был идиолом. Вывезенный по какому-то непонятному, безумному легкомыслию, он едва добрался до Франции, чтобы здесь впасть в мучительное предсмертье.

Петр Ильич не любил мертвецов, и когда пришла вторая телеграмма о том, что Рубинштейн умер, он долго рыдал и стал бояться, как бы с ним не случился нервный припадок, какой уже однажды едва не свел его с ума в прошлом году, когда Алешу призвали отбывать воинскую повинность. Он сел в поезд солнечным утром, на рассвете, и был в Париже холодной, дождливой ночью.

Наскоро умывшись в номере и с удовольствием осмотрев широкую кровать — он очень любил парижские кровати, — он опять вышел и велел везти себя в «Гранд-отель». Эти улицы, Опера, кафе де ля Пэ напоминали ему прошлогоднее здесь пребывание — квартиру, снятую ему Надеждой Филаретовной, ею устроенное знакомство с Колонном, шантан в «Амбассадер», салон Виардо.

Он воображал Рубинштейна мертвым, искаженным, темным и все старался взять себя в руки, упрекал себя за трусость. Он стыдился признаться себе, что многого в жизни боится: привидений, воров, мышей.

Но брать себя в руки не пришлось: тело Николая Григорьевича еще утром перевезено было в русскую церковь на улицу Дарю. В «Гранд-отеле» его провели в апартаменты Третьяковой. Она стояла посреди комнаты вся в черном, с ужасно распухшим, красным лицом. В номере было душно от духов и керосиновой грелки. Чайковский сел и заплакал. И она заплакала вместе с ним. Он ничего не мог спросить, она ничего не могла ответить. Они молча иногда брали друг друга за руки и плакали. И изредка подносили друг другу стакан воды.

Месяца три тому назад Николай Григорьевич Рубинштейн, перед которым трепетала московская консерватория, которого в московских гостиных

194

сажали рядом с губернатором, Николай Григорьевич, сделавший столько музыкантов и научивший Москву музыке, почувствовал начало болезни. Он жаловался на боли в кишках, худел, уставал, но московские врачи больше утешали его, нежели лечили, а когда увидели, что больной утешиться не может, что северная зима отняла у него предпоследние силы, велели ехать в Ниццу, отдыхать, дышать. Сергей Михайлович Третьяков вывез его в последний день февраля месяца. С Еленой Андреевной Третьяковой они должны были встретиться в Париже и дальше ехать уже вместе.

На следующий день, вернее, в ночь с 1-го на 2-е марта, в Вильне, их настигла весть об убийстве Александра II. Третьяков немедленно сел в обратный поезд, шедший в Петербург. Николай Григорьевич остался один со своим Григорием. В том же вагоне ехал господин Оливье, знаменитый создатель салата, основатель московского «Эрмитажа». Он ехал в Берлин, на кулинарный съезд.

Можно сказать, что господин Оливье довез Николая Григорьевича до немецкой столицы, — сам Рубинштейн до нее, быть может, и не доехал бы. Вместе с Григорием господин Оливье перевез его в гостиницу на Унтер ден Линден. Боли начались столь жестокие, что великий музыкант кричал двое суток на всю гостиницу. Однако, несмотря на это, две русские барыни, большие поклонницы таланта Николая Григорьевича, разысканные Григорием в Берлине, решили, что ему необходимо продолжать путь. Впрочем, они, вероятно, были правы. 5 марта больной, они обе и слуга Гигорий были в Париже, а 6-го утром в «Гранд-отель» был вызван знаменитый доктор Потэн.

Потэн любезно поздоровался с Еленой Андреевной, Бернар и Задонской — все три они не отходили от постели больного, — но простился он с ними мрачно и сказал несколько злобных слов по поводу

195

русской медицины: по его мнению, Рубинштейн был болен «туберкулезным поражением кишечных путей» и положение его было смертельно.

Николай Григорьевич, в нечеловеческих муках, лежал в огромном своем номере, где останавливался всегда, когда бывал в Париже. Но теперь здесь не было эраровского рояля (который доставлялся ему обыкновенно накануне приезда), теперь на его месте стоял большой стол, заваленный лекарствами, грелками и набрюшниками. Больной непрерывно стонал. Дамы дежурили по две, третья укладывалась спать, не раздеваясь, а лишь отвязав турнюр. Когда боли прекращались — на час, на два в сутки, — Николай Григорьевич просил умыть его, причесать, подушить одеколоном: все-таки он пребывал в дамском обществе и ему не хотелось, чтобы его видели в беспорядке.

Он шутил. И когда за день до смерти пришел к нему Тургенев, он говорил с ним о том, что надеется на поправку. Он любил жизнь, любил искусство, славу — он просто и сильно любил вещи сложные, о которых много не задумывался. Несколько раз приходил Колонн, присылали от Паделу, заезжал Массне, Но кроме Тургенева он никого не пожелал видеть. Газеты, Бог весть что писавшие о событии 1 марта, еще накануне смерти волновали его.

В среду, 12-го утром, он проглотил несколько устриц и две ложки мороженого.

— Как страшно исхудали мои руки, — сказал он, вытянув на одеяле длинные, прекрасные свои пальцы. — Верно, я никогда уже не смогу играть.

Он был так обессилен болями, что почти не мог говорить. Через час они возобновились уже в последний раз.

То, чем Потэн грозил, называя «прорывом кишечной оболочки», случилось, и это было началом конца. К 2 часам Рубинштейн потерял сознание. После долгих болей, рвоты, бреда он угасал в беспамятстве, и

196

Елена Андреевна держала его руку.

В тишине комнаты слышно было его дыхание. Анатолий Андреевич Брандуков, молодой, восторженный русский парижанин, сейчас совершенно растерявшийся сидел в углу и не сводил глаз с больного. Все тише и реже становились вздохи. Вот он двинул свободной рукой, точно взял аккорд... Спустя некоторое время Елена Андреевна заметила, что дыхание прекратилось, что его рука в ее руке медленно начинает твердеть.

Брандуков, отвернувшись, плакал.

Григория сейчас же послали отправлять телеграммы: Альбрехту в Москву, Чайковскому в Ниццу и в Испанию — Антону Григорьевичу; было четыре часа дня.

Поздно ночью Чайковский вернулся пешком к себе в гостиницу. Старый друг, старший друг, позволявший себе когда-то распекать его, издеваться над ним, а в последнее время прославивший его своей игрой, — ушел, как бы сказав на прощание: «Теперь справляйтесь-ка вы сами!» Боже мой, какой пустыней покажется без него Москва! Чайковский, усталый, в слезах, уснул почти сейчас же, но ночью просыпался много раз. И при мысли о том, что Рубинштейна больше нет и никогда не будет, что он никогда не услышит больше от него свою G-dur'ную сонату, Чайковский чувствовал страшное свое сиротство.

На следующее утро, разбитый, расстроенный, он поехал на панихиду.

В церкви, на улице Дарю, было довольно много народу. Чайковский еще в ограде нагнал Лало. Русские парижане и французы-музыканты стояли вокруг свинцового гроба. Горели свечи. Шла обедня.

Тургенев стоял впереди всех, он, как видно, распоряжался. Елену Андреевну поддерживал бледный, потерянный Брандуков. Тут же были Колонн, госпожа Виардо, Массне, кое-кто из русского посольства. Чайковский молился истово. Он все не мог себе

197

представить, что в этом гробу лежит человек, который был так силен, шумен, напорист и талантлив. Он старался сосредоточиться на том, что и он когда-нибудь ляжет так впереди всех, посреди церкви. Он старался не смотреть по сторонам. Но в то время, как он, низко нагнув голову, стоял и слушал слова молитв, словно ветер прошел по церкви, и он невольно вздрогнул и отступил со всеми вместе. В раскрытую дверь входил, прямо с поезда примчавшийся, кудлатый, в огромной крылатке и черной шляпе, с пронзительным взглядом, с опухшим, серым лицом, сам Антон Григорьевич...

Его пропустили к гробу и полукруг снова сомкнулся за ним.

Через два дня, после краткой литии на Северном вокзале, свинцовый гроб был вдвинут в деревянный ящик, и ящик этот был погружен в товарный вагон. Тургенев схлопотал перевозку тела в Россию. Николай Григорьевич возвращался в Москву, но уже не в консерваторию, а на новое свое место. Чайковский вместе с Тургеневым и несколькими друзьями присутствовали при отбытии поезда.

Там, в Москве, народ стоял шпалерами на улицах, с утра были зажжены фонари. Отпевание в Университетской церкви продолжалось с десяти часов до половины второго. Служил епископ Можайский, архимандрит и пять священников. О. Разумовский, когда-то венчавший Чайковского, в своей речи сравнил Николая Григорьевича с царем Давидом. Генерал-губернатор, Антон Рубинштейн, Направник, Ауэр шли за гробом впереди всей Москвы, двигавшейся два часа до ворот Даниловского монастыря, где у самого алтаря была вырыта могила. Шесть траурных коней везли катафалк без балдахина.

Сзади шли люди и вспоминали, как однажды Николай Григорьевич от переутомления после концерта упал в обморок, как проигрывал в рулетку, как потел и всегда боялся простудиться, как в 1863 году

198

банкир Марк поднес ему в подарок портфель с его собственными рубинштейновскими векселями... Люди шли и рассуждали о том, что покойному было всего сорок семь лет. Что Антон Григорьевич будет, наверное, жить еще очень долго. Люди шептались о том, что Антон Григорьевич нисколько не огорчен этой смертью, что он даже не старается делать постное лицо и, может быть, рад смерти брата, которому всю жизнь завидовал.

XVI

В память «Орлеанской девы», писанной в Браилове в 1880 году и в ответ на «Воспоминания дорогого места», Надежда Филаретовна подарила Чайковскому эмалевые часы. Через два года после этого Браилов был продан. Часы остались не только как память о прожитых там безмятежных, волшебных неделях, не только как память об опере, которая была задумана и написана в годы самой близкой и глубокой их дружбы, но и как воспоминание о каком-то почти невероятном между двумя людьми душевном и духовном унисоне.

Часы были заказаны в Париже и стоили десять тысяч франков. Обе крышки были из черной эмали с золотыми звездочками. На одной стороне была нарисована Жанна д'Арк на коне, на другой — Аполлон с двумя музами. Чайковский долго держал в руках эту драгоценность — у него были долги, но ни продать, ни заложить ее он не посмел.

«Может быть, лучше было бы, если бы она дала мне деньгами», — подумал он, пряча часы в карман и сам себе ужасаясь. Куда шли деньги, он и сам хорошенько не понимал. Шесть тысяч в год выдавала ему Надежда Филаретовна, не считая тех денег, которые она под разными предлогами (срочная поездка, семейные обстоятельства, издание сочинений), посылала ему и от которых он никогда не отказывался. На

199

эти деньги да на музыкальные доходы можно было спокойно жить в России и за границей. Но почему-то всегда получалось так, что ему не хватало и он должал. Совестно вспомнить: в 1880 году он тайно, через друзей (лишь бы она не знала), искал мецената для уплаты своих долгов, но не нашел. А через год верноподданническим письмом обратился к Александру III с просьбой выдать ему три тысячи — в это время он был уже вхож к великому князю Константину Николаевичу, встречался с Константином Константиновичем. Ему ответил Победоносцев — три тысячи были ему высочайше отпущены. Никто никогда не узнал об этом.

Как случилось, что великокняжеские гостиные, царские ложи, а затем и Гатчинский дворец, где он был представлен императору, постепенно из мест «нудных», «страшных», «ненужных» превратились в места «симпатичные» и даже «очаровательные»? В этом отчасти виноват был К. Р., — на его стихи писал Чайковский романсы. Двенадцать романсов были посвящены императрице Марии Федоровне. В Риме, в Петербурге, в Париже он теперь неделями вел ту светскую жизнь, которой еще несколько лет тому назад так боялся.

Если бы Надежда Филаретовна знала, какие письма приходилось ему писать Юргенсону, выпрашивая у него сто рублей! Если бы она могла угадать, что жена Губерта устроила ему вексель! Ему все было мало: путешествовать приучил он себя по-царски. Дома у него не было.

Почти два раза в год описывал он круг: Москва, Петербург, Берлин, Париж, Италия, Каменка, Москва, с заездами то к Кондратьеву, то к Шиловским, то к Конради, а в последнее время — к брату Толе, женившемуся на красавице Прасковье Коншиной, или в новое, купленное вместо Браилова, Плещеева Надежды Филаретовны, где его встречали прежнее браиловское приволье, роскошь и одиночество.

200

Почти два раза в год он описывал этот круг. В Париже мечтал о Каменке, в Москве — о Плещееве, из Италии его гнало в Берлин, из Петербурга — в Киев. Он был один, он часто болел и привык к этому. Он много и попусту волновался; он давал крупные на чай, и его встречали и провожали с почетом. В то время впервые вошел в моду комфорт, и Чайковский полюбил свет электричества, нового фасона рессорные коляски, спальные вагоны, телеграф в провинции; он выхолил себя, стал одеваться еще тщательнее, с женщинами привык быть услужливым, с мужчинами — изысканно вежлив. Он нигде не был у себя и всюду чувствовал себя гостем. От этого появилась у него неуловимая повадка путешественника — очень приятного, но немного церемонного. Были места, где он чувствовал себя почти хорошо: в доме Анатолия, получившего место прокурора и поселившегося в Москве, в парижском отеле Ришпанс — где однажды прожил полгода; даже — по старой памяти — в Каменке, где с каждым годом становилось все грустнее: прошла пора домашних спектаклей, игр, девичьих надежд. Александра Ильинична была приговорена докторами, мальчиков отослали в Петербург учиться, Вера, вторая, вышла замуж, к Анне посватался сын Надежды Филаретовны.

Он возил с собой книги. У него появились пристрастия — он полюбил Мюссе, враждовал с Золя, а читая «Исповедь» Руссо (которую в глубине души считал самой потрясающей книгой на свете, написанной о нем самом), — прятал книгу от посторонних, чтобы ее никто у него не увидел в руках.

Наезды в Москву становились все более деловыми. Ему предложили директорство, он отказался заменить Рубинштейна. В консерватории неурядицы: единственный возможный преемник Николая Григорьевича — Танеев, но Сереже нет и тридцати лет, он, несмотря на все свои достоинства, продолжает сам относиться к себе, как к ученику. «Ведь вы же,

201

Сережа, профессор!» — говорит ему Петр Ильич, но Сережа и к бороде своей относится без уважения: однажды летом он сбривает ее, потому, что ему «надоело позировать одной художнице, которая пишет его с бородой». Умные глаза его становятся почему-то от этого еще умнее, и обнаруживается, что, когда он смеется, верхняя губа его в длину делится складкой надвое. И тогда кажется, что у него три губы.

Да, он слишком молод, чтобы встать над господами профессорами, из которых некоторые сидят у себя в классах со дня основания консерватории. Он молод, но только с ним можно говорить так, как говорит Чайковский: в Сергее Ивановиче, несмотря на молодые годы, нет ни задора, ни горячности, он терпит всех, любит слишком многое, он «академик», он «классик», и с ним уже давно, как с равным, чувствует себя Чайковский. Но Петр Ильич не скрывает того, что думает о нем, как о композиторе: «Только то может увлекать, что сочинено, — пишет он ему. — Вы же, по Вашему собственному выражению, *придумываете*». Только когда дело касается теоретических вопросов (могут ли, например, «флейты валять двадцать два такта сряду триоли в скором темпе или не могут?»), — Танеев судья бесспорный, и Чайковскому приходится с ним соглашаться. Споры уводят их иногда к отвлеченным рассуждениям о современной музыке; Чайковский давно «влюблен» в новую французскую музыку. Он утверждает, что «наша эпоха отличается стремлением композиторов не к великому и грандиозному, а к хорошенькому и пикантному. Прежде сочиняли, творили, теперь подбирают, изобретают разные вкусные комбинации. Мендельсон, Шопен, Глинка, Мейербер (вместе с Берлиозом) представляют переход к периоду вкусной, а не хорошей музыки. Теперь только вкусное и пишется».

Иногда, впрочем, его раздражали планы Танеева — путем колоссальных контрапунктических работ

202

найти какую-то особенную русскую гармонию, которой доселе еще не было. Часто, во время работы над своей Всенощной и рассуждая с Танеевым о «тропарях, ирмосах, катавасиях и канонах», он испытывал «гигантскую тоску». Он старался издали расшатать эту устойчивость,

которая иногда пугала его в друге, — пугала настолько, что он скрывал от него всю свою жизнь и даже дружбу с Надеждой Филаретовной, — боясь, что Танеев вовсе ничего не поймет в нем.

Итак, — «бородашка», «беззубка», — Губерт становится на время директором консерватории, потом его сменяет «директоральный кабинет», пока Сережа не вырастает и не садится наконец в кресло Рубинштейна. В Петербурге пожимают плечами: «В Москве нет людей!» Но в Петербурге тоже не все благополучно.

Умер Мусоргский. Со своих религиозных высот вернулся к музыке Балакирев — не таким, каким был, — нетерпимее, желчнее, самолюбивее. Он обижается на Бородина за то, что тот пишет слишком мало и не оправдал его надежд; он обижается на Корсакова за то, что тот пишет слишком много и сейчас в Петербурге — первый. Он не может примириться с закрытием Бесплатной музыкальной школы и от волнения — «что скажут!» — не в силах сам сыграть свою «Тамару», которую писал пятнадцать лет. Кюи рассказывает про свои заграничные триумфы, но в России его не любят.

Балакирев зовет Чайковского к себе, по старой памяти рассказывает ему новости: отношения их уже не так теплы, как были когда-то. Он рассказывает ему о графине Мерси д'Аржанто, возившей Кюи и Бородина по Европе, любительнице русской музыки: «Только не вашей! Вас она называет *«de la musique gris perle»**; рассказывает про нового петербургского композитора, почти мальчика, который «растет, как

* Музыка жемчужно-серого цвета (*франц.*).

203

Гвидон», — Сашу Глазунова; про учреждение лесопромышленником Беляевым премий за симфоническую музыку... По-прежнему Балакирев хвалит «Бурю» и «Франческу» и обходит молчанием «Онегина», но в заключение предлагает Чайковскому тему — «Манфреда», предложенного им в 1868 году Берлиозу. И, верный себе, Балакирев сейчас же строит всю схему симфонии, непременно, из которой не дай Бог Чайковскому выйти: предаст анафеме. А вот для нее и вспомогательные материалы:

«Для I и IV частей:

«Франческа да Римини» — Чайковского,

«Гамлет» — Листа,

Финал из «Гарольда» — Берлиоза,

Прелюдии e-moll, es-moll, cis-moll (№ 25) — Шопена.

Для Ларгетто:

Адажио из *Symphonic fantastique* — Берлиоза,

Для Скерцо:

«Царица Маб» — Берлиоза,

Скерцо h-moll и Третья симфония — Чайковского».

Писать «Манфреда»... Но для этого надо было сделать еще очень многое, а именно — кончить «Мазепу». В красной папке Чайковского, где хранились всевозможные либретто, собранные за много лет, подходящего для новой оперы он не нашел, но читая Пушкина, которого возил теперь с собою, он нашел в «Полтаве» место, которое положил на музыку. Это была сцена Марии с Мазепой. Он не сразу решился, но Буренин прислал ему либретто «Полтавы», и он приступил к работе — не так лихорадочно и безраздельно, как бывало раньше. В это же время он писал Всенощную, писал скрипичный концерт, писал трио памяти Николая Григорьевича, Вторую, а потом Третью сюиту для оркестра, исполнял по необходимости кое-что на заказ, — от этого, как он ни хотел, он не мог освободиться. Сомневаясь в «Мазепе» до

204

самого конца, он надеялся, что оперу вывезут любовные сцены...

Он работал, почти никогда не имея под руками фортепиано: летом, в Каменке, его жизнь была беспорядочна и тревожна от близости Боба, за которым он иногда ходил целыми днями, вместе с ним бегал на гигантских шагах, ходил на ходулях, лазал по крышам («он, наконец, меня просто с ума сведет своей несказанной прелестью», — писал он в своем дневнике). Он играл с Бобом в четыре руки, строил ему кукольный театр, бывал тапером, когда тот хотел с сестрами танцевать. Боб вырастал в юношу, и с каждым приездом все труднее было Чайковскому от него отрываться. С утра — когда он гулял в одиночестве, и до вечера — когда играл с родственниками и случайными гостями в винт, — сквозь его работу, сквозь мысли, сквозь все то, что он называл

жизнью, проходило это восхищение, это обожание, которое он старался скрывать и о котором догадывался разве что один Алеша — вернувшийся к нему после отбытия воинской повинности, к его огромной радости.

К винту он пристрастился постепенно настолько, что не мог просидеть в обществе и часу, чтобы не составить робера. В Москве, как в Каменке, это стало для него необходимостью, и бывало, в гостях или у себя, он с двумя-тремя приятелями после ужина, тотчас же усаживался за карты. У себя, если была квартира, снятая на краткий срок, ужин устраивался неожиданный, но изысканный: с утра жене Губерта посылалась записка: купить то-то и то-то. В погребе оказывалась бочка крымского вина. Сергей Иванович, мечтавший затеять необходимый ему солидный разговор, оказывался лишенным этого удовольствия, — Петр Ильич не вставал от карточного стола.

Винт доставлял ему зудящее, раздражающее наслаждение: когда ему везло, он делал все, чтобы проиграть, чтобы не платили другие; когда он проигрывал, он злился на себя, он тушил в себе нелепую

205

ярость. «Винт портит мне характер», — говорил он потом, но это была необходимая отдушина для его постоянной сдержанности. Он на себя самого обращал копившееся на людей и обстоятельства раздражение.

Иногда злоба сходила на него в минуты творчества. Ему казалось, что *жизнь прошла, что ни говори*. Ничего совершенного он не оставил. «Творить наивно, подобно птице певчей, уже не могу, а на изобретение нового чего-нибудь пороку не хватает». За этими днями шли дни полного мучительного бездействия, упадка, той праздности, которой он так боялся, потому что для него в праздности таилось зерно его нездоровых, бешеных, неутолимых возбуждений. «Какой я урод-человек!», «Да простит мне Господь столь скверные чувства!» — иногда записывал он для себя.

То, что раньше, бывало, называл он страхами, теперь было бы вернее назвать непреходящим отчаянием, невыносимой тоской. Перемену эту заметил, вернувшись, Алеша. Раньше проще было найти спасение: бежать, укрыться от Москвы, от Антонины Ивановны, от нестерпимых обязанностей и человеческих отношений. Теперь состояние почти предсмертной подавленности, возникавшее без всякого внешнего повода, ничем невозможно было заглушить. Ни вином — которого он боялся, потому что оно разрушало ему здоровье, ни переменой внешней формы жизни — потому что от самого себя все равно никуда не уйдешь. Ни даже творчеством, потому что это отчаяние, эта тоска неудержимо, неодолимо теперь переливались в его творчество и сопутствовали ему в звуках.

Он не завидовал никому в здешней жизни, но людям, знавшим Бога и ждавшим иную жизнь, он с годами стал завидовать, потому что при слове «смерть» его охватывали — не старый страх, как было, когда он ходил искать смерть в Москве-реке, — а отвра-

206

щение, ужас перед необъяснимым, неизвестным и, может быть, грозным. Он не мог с философским спокойствием ждать конца, не мог и наивно верить в райское блаженство. Как жизнь для него была путем одиночества и отчаяния, так смерть постепенно становилась пропастью того и другого, куда спокойно и неожиданно ринет его рука — Бога? Он в Боге уверен не был. Он не умел Его искать. Найти Его — ужасало сознание.

И вот осторожно воскресала в нем старинная мечта: старческая мечта, появившаяся впервые, когда он был еще молодым (и уже усталым), мечта о своем угле, о тихой жизни и о пристанище, пусть одинокого, но верного отдыха. Годы его были те, когда хочется, чтобы хоть на время отпускало все мелочное, оставляя наедине с самим собой, с терзающими сердце творческими мыслями. Купить или снять дом, где вокруг шумели бы деревья, где бы вечерами горел камин — житейский, банальный и благостный уют! Где, может быть, по соседству были бы люди — винтеры, конечно, или просто — милые люди. Снять дом между Москвой и Петербургом — удобный комфортабельный дом, осененный тишиной. Свой дом, свой угол.

Судьба странным образом связывала его с Клинским уездом: Алеша был из-под Клина, и Антонина Ивановна владела под Клином каким-то леском. И в Клинский уезд привели его поиски: сначала, на полгода, была снята дача, потом — просторный загородный дом, теплый, молчаливый, с низкими окнами в душистый сад, с широким балконом. Кругом была северная, русская природа, которую он любил наравне с Италией: там, где кончался запущенный сад, пробегала в плоских

берегах прозрачная речка, стоял березовый лесок над болотцем, вдали сквозила деревенская колоколенка.

Сюда был привезен старый беккеровский рояль, совершенно расстроенный, но который Чайковский

207

не позволял настраивать, боясь, что его испортят. Были куплены старинные английские часы (оказавшиеся, впрочем, испорченными) и другие ненужные, но уютные вещи. Алеша устраивал жилье, вешал занавески, ставил на полки книги, развешивал в кабинете фотографии. Петр Ильич радовался «своим скатертям», «своему повару», «своей дворняшке», и одну из комнат велел отвести для Боба — если он вдруг, когда-нибудь, захочет приехать к нему гостить.

Сюда переехал Чайковский в феврале 1885 года. До станции железной дороги было две версты, поезд шел до Москвы полтора часа.

В Москву ездить приходилось часто — он теперь был одним из директоров Музыкального общества, он только что протащил Танеева в директора консерватории, он держал корректуру «Манфреда» и готовил для Большого театра «Чародейку». Там, в Москве, выступал Антон Григорьевич со своими «историческими концертами», создавая эпоху в музыкальной жизни города. Антон Григорьевич был все так же изумителен, все так же потрясал сердца — когда память ему изменяла, он импровизировал, иногда сам себе подпевая. Публика безумствовала.

Возвращаясь «домой», Чайковский находил то равновесие внешне благоустроенной жизни, которого у него никогда не было: Алеше ничего не надо было объяснять, он все понимал, все угадывал. За это можно было смотреть сквозь пальцы на громадные его счета, которые приходилось Чайковскому оплачивать раз в неделю. Раннее вставание, курение в постели, чай в столовой, а потом — второй чай — у себя в кабинете, за письменным столом — все это стало прочной привычкой. Он писал «Чародейку». Ежедневно на почту у него уходило с десятков писем. Двухчасовая прогулка после обеда суеверно считалась им необходимостью, гулял он, даже если у него кто-нибудь гостил, всегда один, и после, возвратив-

208

шись, некоторое время один перебирал клавиши — мысли, пришедшие ему в поле, на дороге. Полный этих мыслей, возбуждения, тоски, он шел в Клин, к школе, в тот час, когда деревенские мальчики бежали домой с тетрадками и книжками. Его считали за доброго барина — он раздавал им конфеты и медяки, — и это успокаивало его, и тайно радовало, — особенно когда встречался ему Егорушка (а в дневнике, вечером, он опять просил Бога простить его). Дома ждали его газеты, журналы, приезжий московский гость или несколько (что бывало часто), игра в четыре руки; одинокими вечерами — пасьянс.

Он видел, что в жизни его появился *лад*, который может не измениться до самой смерти, что это — порог старости, что он сам, по своей воле, ввел кочевую жизнь свою в русло, где, однако, не изменилась по существу ни его мука, ни его неутолимая одинокая жажда, но где приостановилась текучая, беспокойная тревога.

Надежда Филаретовна написала ему, что радуется тому, чему радуется он. Она счастлива, что он обрел «тихую пристань». Но в глубине своего сердца она поняла в тот год, что вне ее, без нее Чайковский устроил свою жизнь. И что это уже навсегда.

XVII

У Чайковского было детище, к которому он, в течение более десяти лет, не мог изжить ни любви, ни волнения — это была опера «Кузнец Вакула». С ней нужно было что-то сделать, исправить ее, написать заново, очистить ее от грубейших ошибок, от слишком острых музыкальных пряностей, оркестровых эффектов, сложности гармонии. Ее нужно было упростить, выкинув кое-какие тяжелые, чувственные детали, пересмотреть либретто, когда-то так неловко и неумело сочиненное Полонским. И название хоте-

209

лось найти новое, не такое неповоротливое — чтобы не напоминало оно оперы Соловьева и Шуровского, написанные на ту же гоголевскую «Ночь под Рождество». Словом, надо было — сердце требовало этого по необъяснимой, почти страстной любви к «Вакуле» — заняться опусом четырнадцатым и, может быть, сделать из него настоящую вещь.

С Надеждой Филаретовной в последнее время они несколько раз в письмах спорили о камерной и оперной музыке. Она опер не любила. Он же считал, что только оперой может музыкант найти путь к «широкой публике». Она любила квартеты, трио — он трио ненавидел, называл трио варварством и какофонией, и сколько она ни просила его написать для нее трио, этого не сделал, — а написал его памяти Николая Григорьевича.

Он считал, что ее любовь к уединению заставляет ее всему предпочитать камерную музыку — даже секстет его слушала она у себя дома, а выезжать в театры доставляло ей все меньше и меньше удовольствия. Его же порой так сильно пленяли оперная роскошь, пестрота сцены, битком набитый Мариинский или Большой театры, Павловская или Климентова с великолепной фигурой и голосом, тысячи, затраченные на постановку, царь в царской ложе, вызовы...

Он помнил первые представления «Вакулы». Театр делал полные сборы, но горячности в публике не было. С тех пор он узнал настоящий успех с «Онегиным», даже с «Орлеанской девицей» — не восторг, конечно, но успех. И ему хотелось сделать, наконец, что-то настоящее:

— «Ночь под Рождество»? «Царицыны башмачки»?

Он много и долго думал над партитурой «Вакулы», прежде чем начать над ней работать. Сколько в ней было превосходного, сценического, эффектного — может быть, слишком много эффектного?

В ноябре 1884 года, в Париже, он начал проекти-
210

ровать главные перемены, а в феврале следующего года в Майданове, в месте, ставшем почти «своим», он сделал главное, облегчив первую массивность, и принялся за обновление инструментовки.

— «Царицыны башмачки»? «Черевички»?

В марте он кончил все. Он умел работать целыми днями и успевал очень много — и много в это время ел, пил и спал. Сутки как бы раздвигались во времени, и силы его удваивались, утраивались — он креп душевно и телесно... А кроме того, были письма, которые он писал (иногда по 10 в день), а еще были прогулки, какие-то мимолетные, тайные тревоги, были наезды в Майданово Моды, Сережи Танеева, Лароша, ссоры с Алешей, чего только не было! И было еще сознание, что с Надеждой Филаретовной какое-то взаимное понимание идет на убыль, — едва заметно, — что она ему уже так непрерывно и остро не нужна, как бывало когда-то. Но в этом он еще не всегда признавался себе.

Он был уже в том периоде славы, когда не он гонится за людьми, а его ищут. «Черевички» были немедленно взяты Москвой для постановки. Осенью ему предложили дирижировать оперой.

— Дирижировать? Мне — дирижировать? Да у меня голова отвалится, она у меня едва держалась уже тогда, когда я лет двадцать тому назад пробовал дирижировать, и ничего из этого не вышло. Все время подпирал левой рукой, чтобы держалась, а она все куда-то клонилась на сторону. А правой рукой махал, махал, махал, как сумасшедший, до того намахал, что рука онемела. Это мне-то дирижировать! Да еще такой хорошенькой оперой с таким симпатичным сюжетцем! Благодарю покорно.

Но уговорил Танеев. И хотя Надежда Филаретовна писала, что лучше ему не пускаться в дирижерство, что это ему ничего не придаст, а только его утомит и оторвет от занятий, — он послушался Сережу. И после всех слов о неспособности своей владеть

211

оркестром, о правой и левой руке, о качающейся голове, он внезапно веско и уверенно объявил:

— Да, я буду дирижировать «Черевичками» в Большом театре, в будущем январе. Да, я дал свое согласие. — И в декабре месяце начал репетиции.

«Черевичками» он был доволен. Впрочем, он всегда считал свою последнюю вещь самой лучшей, а главное, пришло успокоение, удовлетворение от того, что оказались использованными какие-то давние вдохновения, давшие «Вакулу». Сейчас он жил в Майданове, инструментовал «Чародейку», но нервами был в Москве и ждал января с тревогой, которая мешала ему «блаженствовать», а блаженствовать он привык за эти последние годы.

Из Майданова в Москву он ездил на репетиции, ночуя у Юргенсонов. Репетиций до Рождества было семь, и дело шло как будто гладко. На праздники он уехал к себе, две недели прошли приятно: гостили Модест и Ларош. Модест писал комедию. Вечерами сидели все трое вместе, в натопленном доме, занесенном снегом. 7-го января Петр Ильич с братом уехал в Москву

и остановился в доме Надежды Филаретовны, на Мясницкой. В доме, как всегда, не было никого, кроме слуг (хозяйка была за границей). Началась лихорадка последних репетиций.

Они происходили ежедневно. О «Чародейке» нечего было и думать. Чайковский рано уходил из дому и долго гулял по Москве. В 11 часов он приходил в театр. Возвратившись оттуда домой, он ничего не мог есть, переодевался в свою любимую куртку с «брандебурами», сидел в кресле и в изнеможении дремал, а ужинал поздно.

19-е число — день премьеры — подошел, и утром прибежал Альбрехт сказать, что все билеты проданы. Но Петр Ильич встал совсем больной.

— Что с тобой? — спросил его Модест. Вид у Модя был праздничный.

— Я боюсь, — ответил Петр Ильич.

212

— Но генеральная вчера прошла благополучно?

— Я боюсь, — повторил Чайковский.

Он боялся, что в середине спектакля у него вдруг не хватит сил махать...

За кулисами, где была обычная суета, он почти не мог говорить. Он просил, чтобы его не мучили ни поздравлениями, ни советами. Он стоял у стены, смотрел перед собой, фрак придавал ему важность. Обстановкой и костюмами он в общем был доволен — на этот раз дирекция не поскупилась, все было заказано еще осенью Всеволожским, но его беспокоило, что заболела Солоха — Крутикова лежала в ангине, и вместо нее пела Святловская. Его беспокоил Усатов; он не окончательно был уверен в духовых.

Музыканты разместились в оркестровом низке, и началась настройка. Прозвонил звонок. Театр был переполнен. Альтани — капельмейстер Большого театра — взял Чайковского под руку. Петр Ильич ничего перед собой не видел. Распахнулась дверка, и вдруг загремели рукоплескания — возврата не было, он был у пульта.

Раскланиваясь влево и вправо, то в сторону генерал-губернаторской ложи, где была муть от лиц и голых женских плеч, то в сторону царской ложи, где сидели великие князья, он вдруг с необычайной ясностью увидел в партере Кругликова из «Современных известий». И вдруг какая-то пружина внутри него встала на свое место. Он почувствовал, что, может быть, все будет и вправду хорошо, как говорил Модя. Занавес взвился. Начались подношения.

Под несмолкаемый гул и топот зала ему надели на плечи огромный лавровый венок от оркестра, другой от хора, прислонили к коленям, третий, четвертый, десятый положили, поставили вокруг него. Он кланялся, стараясь соблюдать изящество и важность, наконец, каким-то образом выполз из этих лавровых жгутов, освободился, еще раз раскланялся и постучал палочкой по партитуре. Зал смолк. Оркестр заиграл увертюру.

213

Зачем он это делал? Теперь, впрочем, было уже все равно. Для славы. Ему уже было мало «блаженствовать» — он захотел вокруг себя шума. Слава подходила, он торопил ее. Кто знает, может быть, жить осталось не так уж много? Голову он держал совершенно прямо — она вовсе не собиралась отвалиться. Опять рукоплескания. Начинается первое действие.

Усатов был в этот день великолепен, да и все артисты старались всю и произвели впечатление, хотя оркестр, как это бывает всегда, был хуже, чем на генеральной. Вызывали без конца, Климентовой поднесли две громадные корзины, хотя она от волнения слегка переигрывала, Святловская вышла хоть куда, превосходен был Корсов в роли Беса, а Хохлову, ослепительному Светлейшему, долго, истерически визжал раек.

Но половина Большого театра были друзья, и Петр Ильич все время помнил это. И, может быть, сочиняя какие-нибудь пять заключительных тактов в последнем своем квартете или пишучи коротенький романс на нелепые слова Мея, он знал больше радости, чем от этих криков, хлопков и лавров. Когда в последний раз опустили занавес, оркестранты его почти вынесли за кулисы, после каждого действия он все больше слабел. Выстрелило шампанское, кто-то обнял его, — и не раз, и не два. «Модя!» — но Модя был далеко. Модю тоже чествовали, как брата. Юргенсон и Альбрехт вовремя подхватили Петра Ильича. В саночки! В Славянский базар! В огромном отдельном кабинете уже готов был ужин на несколько десятков человек, и опять застреляли пробки.

— Дорогого нашего — в серединочку!

— Дорогому нашему — многие лета!

— За дорогого нашего — осушим! Поцелуй. Крики. Еда. Красные лица. Опять надевание венка. Д'Альбер, европейская знаменитость,
214

говорит от лица Европы... Поэт Гаев — ловко владеющий рифмой — лезет на стул:

Пой, гусляр наш славный,
Радуй многи лета!
И прими с улыбкой
Этот звук привета!

— Что все это значит? Подождите, дайте вникнуть...
— Петр Ильич, да ведь Вагнер перед тобой — тьфу! (Это кажется, Юргенсон.)
— Душа моя, голубчик! Да мы это самую Европу под ноготь возьмем с тобой...
Он отвечал, выпив чайный стакан коньяку; после каждого его слова поднимался вой, рев, стон... В общей суматохе он, наконец, дотянулся до брата.
— Модоша, поедem. А?
— Куда? Всего три часа.

Но прошло еще довольно много времени, прежде чем кончилось это веселье, прежде чем они выбрались на улицу, и по тихим снежным площадям понеслись на Мясницкую. И чего-то было жаль. Верно, самого себя. Далекое прошлое, какие-то швейцарские, флорентийские недели казались такими счастливыми, милыми, безмятежными. Себя, свое блаженство, свое прошлое любил он всю жизнь больше всего на свете.

— Скажи мне, правду скажи: хорошо было?
— Отлично было, превосходно!
— А, может быть, лучше не надо было?
— Ты это о чем?
— Нет, ничего, это я так...

Впрочем, он напрасно терзался: чествование, восторги, визг райка и ночной ужин относились к «Черевичкам» и к нему, как их автору: дирижерством его никто особенно не заинтересовался.

Они вышли из саней, вошли в дом, долго еще, раздеваясь и куря, говорили. И в шестом часу легли.

Утром Петру Ильичу подали телеграмму о вне-
215

запной смерти в Петербурге, на маскараде в Дворянском собрании, Тани Давыдовой, племянницы. Но день его был так загроможден консерваторским завтраком в его честь, обедом у Юргенсонов и концертом д'Альбера, что у него не было времени ни предаться слезам, ни даже задуматься над этой смертью.

Не было времени задуматься, расчувствоваться, всплакнуть... К чужим смертям, к чужим несчастьям он стал безучастным, на него временами наплывало безразличие к самым близким, жизнь гнала его мимо, с силой и быстротой, сначала ему непривычными, но постепенно он убедился, что только так и можно достичь славы, успеха, — а славы и успеха он теперь жаждал и становилось страшно при мысли, что он не успеет здесь вкусить одно из самых суетных, но и самых острых блаженств.

С племянницей Таней Давыдовой связала его несколько лет тому назад одна тайна. С концерта д'Альбера он ехал домой в раздумье, вспоминая случай, о котором, кроме братьев, не сказал в свое время никому... Д'Альбер был превосходен. Антон Рубинштейн взошел на эстраду, обнял его и поцеловал — точь-в-точь, как когда-то Бетховен поцеловал Листа...

Чайковский думал о Тане.

Это мать, Александра Ильинична, сделала ее морфинисткой. Вокруг девушки, взбалмошной красавицы, вились женихи, а она то приближала к себе неугодного сердцу родителей, то отказывала самому блестящему из всех. По неизвестным причинам расстраивалась свадьба, сестры ее выходили замуж, она становилась все нервнее и больнее.

И однажды она призналась — дяде Пете и больше никому: она ожидала ребенка.

Теперь она умерла на маскараде, прошло пять лет с тех пор. Никто не узнал настоящей причины ее поездки в Париж — ни мать, ни отец. Чайковский увез ее, будто бы лечить у Шарко, на самом деле в

216

частной лечебнице, в Пасси, она родила сына. Через полгода она вернулась в Каменку. Мальчик был отдан Чайковским во французское семейство, в предместье Парижа, на воспитание.

Прошло четыре года, Петр Ильич вернулся за мальчиком: его старший брат Николай, когда-то предмет его детской зависти, теперь женатый, ставший инженером, согласился усыновить Таниного ребенка. Детей своих у него не было.

Это было год тому назад. Между визитами к Сен-Сансу, Гуно, деловыми встречами с парижским издателем мосье Макаром Чайковский несколько раз ездил из Парижа в Кремлен-Бисетр. Там рос Жоржик, не понимавший ни слова по-русски, называвший мамой и папой приютивших его людей. Жена Николая Ильича приехала вслед за Чайковским в Париж. Она спешно выправила мальчику паспорт, метрику, даны были деньги лъстивой кормилице... Жоржика, резвого, картавого, ласкового, нагруженного подарками, вывезли в Петербург.

Это было год назад. Сходство его с матерью было поразительно. Александре Ильиничне и Льву Васильевичу пришлось рассказать длинную историю о найденныше, о случае, так осчастливившем Николая... Боялись, что сходство Жоржика выдаст все, боялись за радость Тани (жившей в то время уже в Петербурге) при встрече с ним...

Все обошлось. Жоржик научился русскому языку, русским молитвам. Он забыл Кремлен-Бисетр и больше всех любил Петра Ильича, баловавшего его сладостями и игрушками. С Таней, умершей вчера на маскараде, Чайковского связывала странная тайна. Но сейчас не было времени думать об этой смерти.

Несколько месяцев тому назад он в Аахене присутствовал при последних неделях Кондратьева. Кондратьева не стало, но потери он почти не почувствовал. И смерть Веринковского — в которой, быть может, он был повинен, отозвалась в нем не так, как

217

должна была отозваться. Веринковский покончил с собой из-за любви к жене Анатолия Ильича Прасковье Владимировне и отчасти из-за самого Чайковского, — это был молодой офицер, влюбленный в его невестку, жестоко с ним кокетничавшую. Когда приехал в Тифлис Чайковский, Веринковский почувствовал к нему влечение. Он пустил себе пулю в лоб на следующий день после отъезда Петра Ильича.

Это портило ему воспоминание о Тифлисе, где он испытал много счастливых минут: он гостил у Анатолия, переведенного туда вице-губернатором; Прасковья Владимировна была первой в городе по красоте и блеску. Еще в Москве, до замужества, она сводила с ума кого хотела, сам Антон Рубинштейн с эстрады бросал ей в первый ряд на колени только что полученные от поклонниц цветы. В Тифлисе их дом был самым гостеприимным и самым пышным домом; Чайковский, попав к ним, очутился в центре музыкальной, литературной и светской жизни. В гостиной «Пани», как называл свою невестку Чайковский, ставились спектакли, давались балы, устраивались концерты. Он немало был удивлен, когда здесь узнал, что Тифлис любит его, любит «Онегина» и «Мазепу», и на пышном чествовании, устроенном ему в театре, в увитой гирляндами ложе, заваленный подношениями, при звуках «Славы», он был искренне растроган. До этого он думал, что Россия — это Петербург и Москва, и вот оказалось, что еще теплее относится к нему провинция: Тифлис, Киев, Одесса — куда только его не забрасывала судьба!

Его бросало по России: после дирижерства «Черевичками» его стали приглашать не только как автора тех или иных вещей, но и как дирижера. В Петербурге устраивается концерт из его произведений, в Москве он дирижирует «Моцартианой»... Но среди этих, один за другим бегущих успехов, его ждет удар: в Петербурге проваливается «Чародейка», и прова-

218

ливается, как никогда до того не проваливалась его опера: без надежды когда-нибудь вернуться на сцену.

Этот провал среди стольких успехов он почувствовал, как первое предостережение: неужели он ошибался всю жизнь, и Надежда Филаретовна была права (и Стасов, и Лев Толстой), неужели только теперь — так поздно! — он убедился, что он не оперный композитор? Два года «Мазепы», два года «Чародейки» ушли безвозвратно, не говоря уже о ранних операх, за которые он теперь

себя проклиная... А жить осталось, может быть, уже немного, и столько еще хочется сделать! И самое печальное то, что в сорок семь лет он убеждается, что ничего в самом себе не понимает.

На репетициях ему казалось, что русская оперная сцена еще не видела такой музыкальной драмы, не слышала такой музыки, а когда на следующий день после первого представления «Чародейки» он вечером пришел к Римскому-Корсакову, то увидел в гостинной напряженные лица гостей: перед его приходом говорили о том, что делать? Смолчать о вчерашнем, или, наоборот, уверять что все обстоит хорошо? И тогда Чайковский неожиданно для самого себя сказал:

— Господа, давайте сделаем так, будто вчерашнего вечера просто не было. Давайте говорить о другом.

Это было сказано так просто, что гости и хозяева почувствовали себя внезапно свободными, а двое юношей, смотревших на него во все глаза — Глазунов и Лядов, — испытали что-то похожее на восторг.

И сейчас же все заговорили, заулыбались, и Чайковский принялся рассказывать что-то веселое. В тот вечер Корсаков обратился к нему с просьбой: помочь ему переинструментировать fortissimo в духовых для «Ночи на Лысой горе» покойного Мусоргского, и Чайковский с радостью согласился.

Поздно ночью оба — Глазунов и Лядов — ходили

219

по улицам и говорили о Чайковском. То обаяние, что было в нем когда-то в молодости, — обаяние внешности и обращения с людьми, — в последнее время, от того, быть может, что он научился так владеть собой, стало основной его чертой. На молодежь, на музыкантов он действовал с безошибочной неотразимостью, говоря с ними, как с равными, излучая на них какое-то особое, одному ему свойственное тепло. У Палкина, ночью, Лядов говорил Глазунову:

— Вот это человек! Вот это музыкант!

В тот вечер он и его музыка слились для них воедино. Оба почувствовали, что перед ними был кто-то настоящий, большой, при всех своих неудачах — божественный — музыкант. В два часа ночи они заметили, что в зале — одни. Ресторан закрывался.

Но век непосредственности прошел. Сорок лет тому назад Стасов и Серов ходили к Листу целовать ему руку. Глазунов и Лядов не посмели открыть Чайковскому своего мальчишеского перед ним восторга, они просто сделались его приятелями.

Он вернулся в Майданово больной. Одышка, появившаяся у него в последнее время, уколы в боку — беспокоили его. Надо было торопиться. Но что было делать? Старость надвигалась — по годам еще рано, но он уже чувствовал ее шаги. И это тоже было что-то, что нужно было скрывать: неготовность свою к смерти. Как много в жизни приходилось ему скрывать!

Для этого, не для чего другого, он завел дневник. Не для того, чтобы перечитывать его в минуты сожаления о себе, — для этого дневник был слишком безотраден. Он любил воспоминания — но только те, которые лелеялись сердцем, а не те, что записывала рука. Он писал потому, что некому было сказать самое тайное, самое скрытное: о любви своей к Бобу; о том, как иногда докучает ему Алеша, о Надежде Филаретовне, которой все чаще не хочется отвечать на письма и которая не может понять, что ему не хва-

220

тает денег. О сестре, которая утомляет его, о Модесте, согладатайство которого порой выводит его из себя, о себе самом, о том, что страшно умереть, о своей тоске, о катаре желудка, о том, что утром его тошнит. О страхе, что вдруг он однажды проснется идиотом — без памяти, с невозможностью работать; о том, что в «тихой пристани» ему так же невыносимо жить, как и в бурном море. И если во сне он видел *пустой театр* на представлении своей оперы, то писал и об этом, потому что никому нельзя было рассказать даже этого.

У него были в жизни встречи с людьми, имена которых остались неизвестны никому, кроме него самого: в России и за границей у него были отношения, тайно начатые и тайно оборванные, о которых не догадывался даже Алеша. Иногда прошлое возвращалось к нему, осиянное светом, в котором тонуло настоящее. Вспоминались какие-то призраки: «Перед отходом ко сну много и долго думал об Эдуарде. Много плакал, — писал он в дневнике, внешностью похожем на альбом. — Неужели *его* теперь вовсе *нет*?.. Не верю».

И на следующий день опять о том же:

«...Думал и вспоминал об *Заке*. Как изумительно живо помню я его: звук голоса, движения, но особенно необычайно чудное выражение лица его по временам. Я не могу себе представить,

чтобы его *вовсе* не было теперь. Смерть, т. е. полное небытие *его* выше моего понимания. Мне кажется, что я никого так сильно не любил, как его. Боже мой! Ведь, что ни говорили мне *тогда* и как я себя ни успокаиваю, но вина моя перед ним ужасна. И между тем я любил его, т. е. не любил, а и теперь люблю, и память о нем священна для меня»...

Это был один из призраков, волновавших сердце больше других.

Часто он писал пьяный. Алеша спал рядом. Была такая тишина, что когда собака пробежала по саду,

221

было слышно в кабинете. Он засыпал на стуле, несмотря на то, что редко чувствовал себя вполне здоровым (всегда что-нибудь болело, клонило среди дня ко сну, было лень выйти из дому), — он часто спал, не раздеваясь, неводержанно ел, лечился касторкой. Однажды он написал завещание — все, что у него было, он оставлял Бобу.

Боб приезжал часто, иногда с Модестом и Колей Конради. Чайковский ездил к нему в Петербург. Он вырос капризным и очаровательным юношей, учился в Правоведении, говорил «спаги» вместо «сапоги», растягивая «а», был все так же несдержанно талантлив и эгоистически предпочитал общество своих кузенов-сверстников обществу Чайковского.

В Петербурге Петр Ильич вечерами старался удержать его дома и сам отказывался от вечерних приглашений. Он не искал уединения с племянником, он даже любил, когда, кроме Боба, с ним бывали и его товарищи. Но быть подле Боба, слушать его, смотреть на него доводило его до молчаливого счастья. Ревности он не знал, ревность заменяла иногда обида: «Странное чувство у меня, когда я с Бобом, — записывал он, — я чувствую, что он меня не только не любит, но просто питает ко мне нечто вроде антипатии». Это было не так: Бобу Чайковский был дорог, но он не мог не относиться к нему с некоторой иронией.

Завещание было сделано в пользу «обожаемого мальчика», и Боб это знал.

XVIII

Накануне 1888 года Чайковский выехал за границу: не для отдыха, но и не для работы. Он решил сделать концертное турне: из Парижа, Лейпцига, Лондона, Праги делали ему лестные предложения. После провала «Чародейки» всякие мысли о новой

222

опере были брошены; ему наскучило Майданово. Алеша женился, и он опять был один.

В Праге была поставлена «Орлеанская дева», в Германии его знали, благодаря друзьям — фон Бюлову, Бродскому, Клиндварту (сочетавшему любовь к Чайковскому с любовью к Вагнеру), в Париже он был выбран почетным членом Общества имени Баха. В последнее свое пребывание в Париже он убедился, что Европа слушает его, а часто и восхищается им. Он помнил пророчество Балакирева: во Франции, во всяком случае, вас никогда не будут любить — французы прежде всего не смогут произнести вашей фамилии. Теперь, после знакомства с Колонном, с Ламуре, с французскими композиторами, большинство которых он встречал в гостиниой Виардо, он видел, что Париж открыл ему свои двери, а в Германии ему уготовлен такой прием, о котором пять лет тому назад (в эпоху исполнения Бродским его скрипичного концерта) он и мечтать не мог. Он решил ехать в Европу по причине, в которой едва признался себе сам: писать он сейчас не в силах, Клинский уезд приелся, от все тех же людей он устал, устал от московских дел и дразг, от петербургских волнений сердца. Он ехал и как композитор-симфонист, и как дирижер: прошло два года со дня первого представления «Черевичек», — он научился за это время владеть палочкой, научился скрывать волнение, плохо ли, хорошо ли, подчинять себе оркестр.

Впрочем, и теперь еще, когда он дирижировал оперой, артисты требовали, чтобы хормейстер сидел в суфлерской будке и подавал им знаки, — на взмахи Чайковского они не надеялись. С оркестром он теперь справлялся — и даже самые строгие судьи, как Кюи, писали о его дирижерских способностях снисходительно. За границу он вез с собой недавно полученную в подарок палочку — говорили, что она принадлежала не то Шуману, не то Мендельсону. Эту палочку, совсем простую, он недавно отдал ювелиру

223

разукрасить лавровыми серебряными листочками.

В Берлине его встретил Давидов, директор Петербургской консерватории. Они позавтракали вместе; на Давидове не было лица: в Витебске пьяный офицер разбил ему виолончель Страдивариуса, вымененную когда-то графом Виельгорским на тройку с кучером. Давидов рассказывал об этом, едва сдерживая слезы.

Чайковский сочувствовал и пил. День предстоял трудный: музыкальный агент должен был указать ему точный маршрут по городам Германии. «Неужели это только начало, и три месяца будет вот так, и до марта нечего и думать о России?» — думал Чайковский. Опять все было, как всегда: стоило уехать из Майданова, как хотелось вернуться, стоило оказаться где-нибудь, как место, из которого приехал, начинало звать назад. Какое чувство было ему самым привычным, от которого он почти никогда не освобождался? Чувство сожаления. Отчетливое сознание невозвратимости делало его всегда угнетенным настоящим. Он иногда спрашивал себя: если бы была возможность вернуть, то что бы он вернул? И знал, что, кроме отдельных *минут*, возвращать из всей жизни было нечего.

В этом путешествии среди сменяющихся без перерыва визитов, новых знакомств, репетиций с чужими оркестрами, зубрежки собственных сочинений, концертов, тоже были *минуты*, о которых он много позже вспоминал с каким-то замиранием. Успех, опьянивший его за границей, был самым полным и самым бесспорным из всех, которые он когда-либо знал; он поехал за ним в Европу и не обманулся.

Бродский жил тогда в Лейпциге. Лейпциг был одним из музыкальных гнезд Германии. У него в доме встретился Чайковский в первый же вечер приезда с новыми европейскими музыкантами. Маленький человек, тщедушный, с кривыми плечами, белокурыми кудрями и такой же бородкой долго тряс ему

224

руку. Это был Эдвард Григ. Здесь был Брамс, музыку которого в последние годы Чайковский не раз слушал и играл и от которой каждый раз приходил в раздражение: «бездарная сволочь», «самонадеянная посредственность», «хаотическая и совершенно бессодержательная сушь»... При знакомстве Брамс ему понравился чуть ли не больше всех. (К Григу он чувствовал огромную нежность.) Брамс оказался небольшим, плотным, с головой старика, в длинных редких волосах и густой бороде. Он серыми своими глазами, выражением добродушия и покоя был скорее похож на славянина, чем на германца. Через час выяснилось, что это самый веселый, простой, умный и компанейский человек на свете.

Бродский, Зилоти и молодой, талантливый, только что входящий в большую славу виртуоз Сапельников, три друга и телохранителя Чайковского, участвовали вместе с ним в концертах по Германии. Между этими концертами он то на два, то на три дня уезжал, чтобы прийти в себя, в Любек и в Магдебург, а затем опять возвращался в Лейпциг, Гамбург и Берлин. Каждый из новых его знакомых непременно устраивал в его честь обед, потом он отдавал этот обед, потом хотелось встретиться отдельно с Брамсом; появлялся новый человек — Рихард Штраус; наносил визит Шарвенка, приходили знакомиться Бузони, Никиш. На концерты свои он приезжал обжороченный, изрядно выпив, но привычка к такой жизни (как и отвращение) явилась быстро: он мог почти не спать, он иногда бывал на людях круглые сутки, а когда он дирижировал, в лице его появлялась, при первом же взмахе палочки, уверенность в себе. Оркестрантам он нравился.

Все имело успех: и «Ромео», и Третья сюита, и «1812 год». Венки, фотографии, серенада под окном гостиницы («Боже, царя храни»), обеды, речи — он сам говорил ответную речь на немецком языке — все это вело его к прочной славе. И на обеде у издателя

225

Бока в Берлине высокая толстая дама лет пятидесяти однажды протиснулась к нему. На ней было белое платье, ожерелье, серьги, у нее были выпуклые, умные глаза, немного слишком красное лицо. Она прикрывает веером пышный, наполовину оголенный платьем бюст и говорит, что узнает его. А он?..

Дезире Арто-Падилла приглашает его к себе: ей тоже хочется чествовать Чайковского: «Мы ведь были когда-то большими друзьями», — улыбается она, и синьор Падилла, растолстевший, горластый и рукастый, просто душит его в своих объятиях.

«Голубчик Модя... Старушка столь же очаровательна, сколько и двадцать лет назад»...

Да, она была по-прежнему весела и блестяща, слегка ядовита, любезна и остра. Голос у нее был уже не тот, что прежде, но она не обманывала никого и сама не обманывалась. И опять ей доставило неизъяснимое удовольствие — может быть, еще сильнее, чем когда-то — посвящение

ей Чайковским романсов. Он обедал у нее перед отъездом из Берлина, был посажен на почетное место.

«Старость». «Тоска», — записывал он в дневнике.

Пьяным он выехал из Германии и почти пьяным приехал в Прагу.

На последней перед Прагой станции его встретили делегации чешских музыкальных обществ; на пражском вокзале его приветствовал хор; до самого Hotel de Saxe ему кричали «Слава!» Вечером чешские политические деятели приходили знакомиться с ним в его ложу (шел торжественный спектакль — «Отелло» Верди), где он сидел с Дворжаком. В Праге было еще больше восторгов, чем в Германии, никто ни за что не хотел брать с него денег. В Hotel de Saxe через день устраивались банкеты, на одном из них, между первым и вторым «патриотическим» концертом, Чайковский прочел на бумажке чешскую речь (написанную русскими буквами) — после чего его подняли на руки.

226

«Я не выдержу. Когда это кончится?» — наутро думал он. Поезд нес его в Париж. Пустую бутылку коньяка он выбросил из окна прямо под насыпь.

Париж — суетливый, чуть-чуть холодный и очень нарядный, был такой же, как и всегда. Германия слушала его, и Чехия слушала его всей страной, Париж принимал его в салонах, где любили Массне, Падеревского...

Чем больше надо было соблюдать приличий, говорить любезностей, благодарить, тем больше его тянуло, поздно ночью, в низкопробные места, в шантаны, на Севастопольский бульвар, где с Брандуковым они иногда поили девиц шампанским; или в цирк. Когда он приехал в Лондон, он почувствовал, что больше нет сил продолжать эту жизнь. Был март месяц. Не сам ли искал он того, что в полной мере встретил на Западе? Теперь он был признанным европейским музыкантом, теперь нечего было беспокоиться о том, что где-то кто-то его не знает, никогда о нем не слышал... В поездках, за табльдотами его узнавали. Не этого ли хотел он когда-то? Или он по всегдашней своей привычке, которая делает его таким несчастным, начинает теперь сожалеть о том времени, когда его никто не знал, никто о нем не любопытствовал? Когда он был свободен.

Слава обязывала его. Ему многое приходилось скрывать и раньше, но сейчас ему придется скрывать почти все. Глаза друзей, врагов, поклонников, просто любопытных обращаются на него. За границей он получил извещение от министерства двора, что ему обещана пенсия от государя... Все это обязывает. О, если бы можно было уйти от себя! Но уйти он пробовал в жизни не раз, при воспоминании об этом дрожь пронзает его. Остается маскироваться, научиться маскироваться так, чтобы никто не знал, что в нем происходит, чтобы не догадывались о том, что ему невыносимо жить на свете, что когда он утром

227

просыпается и видит в окошке свет дня, он шепчет с тоской: опять день!..

Для того, чтобы закрыться от всех, он будет отныне избегать оставаться вдвоем с кем бы то ни было — в компании, сколько угодно, но только не с глазу на глаз: ни с любопытствующим обо всем Ларошем, ни с деликатнейшим Сергеем Ивановичем. Он будет еще снисходительнее в обращении, особенно с молодежью. Надо, чтобы все думали, что он вполне уравновешенный, просто не слишком веселый человек. Потом он будет писать: он напишет секстет, балет, опять оперу... Все, что захочется, все, что закажут. После заграничной поездки стало ясно (и Бродскому, и Зилоти, вероятно), что ему надо спешить: он слишком изношен душевно, он болен телесно, он, конечно, скоро умрет. Надо написать еще что-то, главное, мучительное, что мерещится всю жизнь. Разрешить один неразрешенный вопрос.

Но пока он пишет «не то»: Пятую симфонию, и делает это, чтобы доказать самому себе, что он еще не окончательно исписался, что «старик не выдохся». По приезде домой он садится за работу без вдохновения. От заграничной поездки он устал, отвык от одиноких вечеров, но и люди, съезжающие к нему из Москвы, ему сейчас не милы. Денежные дела его, несмотря на пенсию, запутаны.

Вокруг вырубали столетний лес, на лето съезжались дачники. На тихое деревенское кладбище в лунные вечера ходили парочки. Чайковский для своих прогулок выбирал уединенные места, которых становилось все меньше, но каждый день он выходил, в любую погоду.

У него вошло в привычку, проходя мимо домов, заглядывать в окна так, чтобы его не видели. Подглядывание сделалось его страстью, иногда он за этим только и ходил. Он лучше

других знал, что человек, когда один, не похож на того, каким его знают окружающие, и он старался увидеть чужих ему людей в

228

одиночестве. Сквозь штору, сквозь щель ставни, сквозь незанавешенное окно.

Гости приезжали часто, почти всегда в тот год гостил кто-нибудь, то Модест с Колей, или один, то — короткое время — красивый, совсем уже взрослый, надменный («сто раз божественный») Боб; то жил Ларош — опять, после недолгого профессорства в Московской консерватории, переехавший в Петербург — когда-то многообещающий, скороспелый, теперь — опустившийся неудачник, с запутанной личной жизнью, целыми днями валяющийся по постели с учебником латыни в руках («и вздумал учиться, и лень»), отравивший себе громадный живот, однажды вдруг бесцеремонно признавшийся, что «терпеть не может Петину музыку». Приезжали из Москвы с деловыми разговорами консерваторские сотрудники: Сергей Иванович отказался от директорства, оно отнимало у него слишком много времени, Сафонов был на его месте; вместо Альбрехта инспектором стала вдова Губерта... Чайковский и сам наезжал в Москву, в Петербург: это стало необходимостью. В один из его приездов в Петербург к нему обратилась дирекция Императорских театров с заказом: написать балет. Косвенно ему намекнули, что этого хочет государь.

Либретто было ему уже готово. Это была «Спящая красавица», и он между делом принялся сочинять с давно не бывшим, легким и ясным настроением. Недаром Ларош говорил когда-то, что он «одарен к серьезной музыке на воздушный сюжет». Он вспоминал, как Надежда Филаретовна несколько лет назад ему писала об «опьянении музыкой». На этот раз он и впрямь пьянел, когда писал. Главное, он старался умерить свою обычную резкость, свои «шумы».

— Ах, почему у меня не так, как у Николая Андреевича (Корсакова)! — говорил он часто. — Трубы, тромбоны, ударные инструменты дуют себе во все

229

лопатки по целым страницам, без надобности, без всякого толку!

В «Спящей красавице» он хотел, чтобы этого не было.

Приезжали к нему новые, молодые гости: Аренский, полубольной, обладавший каким-то ненормальным слухом, какого ни у кого не было; Ипполитов-Иванов, его тифлисский друг; ученики консерватории. Музыка и винт — других развлечений здесь не было. Ранним утром, до работы, Чайковский писал у себя письма — почтальон приходил за ними перед завтраком.

Переписка его начала разрастаться давно, но после последней поездки по Европе ему приходилось иногда писать до тридцати писем в утро. Надежде Филаретовне в последнее время он почти перестал писать о себе, да и ей становилось все труднее с годами держаться прежнего напряженного тона, — она старела, у нее появились странности, она более, чем когда-либо окружала себя музыкальной молодежью, сопровождавшей ее и за границу, и в ее Плещеево. Она стала совсем нелюдимой. Теперь Чайковский писал ей больше о красотах Клинской природы или Кавказских гор, о цветах, им посаженных в саду, иногда просил денег вперед — она по-прежнему была щедра и по-прежнему исполняла все его намеком брошенные просьбы. Кроме Надежды Филаретовны были еще из года в год прибывающие корреспонденты, из людей близких, были письма к родным, были деловые письма. И этих становилось с каждым месяцем все больше.

Его звали вновь в Париж, в Германию. В Праге ставили «Онегина». Великий князь Константин Константинович требовал ответа на длинные неглупые свои рассуждения о музыке, поэзии и прочих искусствах. Чехов писал по поводу посвящения ему «Хмурых людей»... И были еще письма к случайно встреченным в странствиях иностранцам и русским, кото-

230

рых он тайно оплакивал, которых не мог забыть...

Тайно. Все, что он чувствовал, он теперь научился чувствовать тайно, и это тоже был один из признаков старости: меньше жадности и меньше остроты в проявлении чувств. Усталость души усиливалась вместе с немощью тела.

Его звали в Америку. Но пока он решил Америку отложить. Он кончил Пятую симфонию, кончил «Спящую красавицу», отдирижировал юбилейными концертами Антона Григорьевича, что далось ему с трудом, но непременно хотелось заплатить «старый долг». Впрочем, какой долг? Разве не был к нему Рубинштейн всегда равнодушен? «Неподвижная звезда на моем небе». Длящееся около часу «Вавилонское столпотворение» и другие рубинштейновские «капитальные»

вещи надо было разучить, хор в семьсот человек заставить себя слушать. На девять симфоний Бетховена меньше потратил он сил, чем на оплату несуществовавшего долга. Но и это было позади, и постановка «Красавицы». Его потянуло в Италию, к когда-то любимым местам. Давно он не видел их, давно не дышал нежным и волнующим сердце воздухом. Он уехал с первым действием либретто «Пиковой дамы» в кармане — Модест должен был дослать ему остальное. Да, он решил опять приняться за оперу...

Перед отъездом он сжег свои дневники.

Там, на вилле деи Колли, где когда-то он жил, плясали теперь карнавальные маски, гремела музыка, и в Кашине долго надо было искать уединенного места в пыльной, нарядной масленичной толпе. Он поселился в городе, в отеле с окнами на Лунгарно; стояли почти летние дни. Но не Надежду Филаретовну вспомнил он здесь, не канувшую жизнь свою осенью 1878 года, а в первый же вечер пошел искать уличного певца Фердинанде, которым когда-то любовался, из мальчика ставшего взрослым певцом. Он пошел искать акробата Мариани в «Арене». У него

231

было лихорадочное состояние: либретто Модеста (остальные действия он дослал одно за другим) волновало его так, что без сильного биения сердца он не мог о нем и думать.

Он стал здесь писать целыми днями, с краткими прогулками, с редким ночным пьянством, как давно уже разучился работать. Как обычно, когда он писал помногу, подолгу, с изнурительным напряжением, он чувствовал, что выйдет хорошо. Залог удачи был в полноте, с которой он предавался творчеству; с неудержимой силой, потоком рождались звуки, руки его дрожали над нотной бумагой. Он всегда любил работать наспех, к сроку, это подхлестывало его. «Пиковую даму» он, едва приступив к ней, решил во что бы то ни стало поставить в будущем сезоне. Это придавало работе неизъяснимую прелесть.

Он не раз писал и говорил, что надо быть сочинителем, «на манер сапожников, а не на манер бар, каковым был у нас Глинка, гения коего, впрочем, я и не думаю отрицать. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, т. е. изо дня в день и по большей части по заказу».

Экипажи проезжали мимо его окон, направляясь после обеда на гулянье в Кашине; это было его развлечением; развлечением была «Аида», на которой он был раза четыре, каждый раз уходя после второго акта, — больше высидеть не мог; Фердинандо развлекал его своим пением; развлечений этих он искал: возбужденный работой, он, отходя от письменного стола, впадал внезапно в состояние невыносимого угнетения, которое заглушал только сном или работой. В полтора месяца черновик оперы был готов, и он в тот же день начал клавираусцуг. От волнения, от переутомления, над последним черновым листом с ним сделалась истерика — но такая сладкая, такая блаженная, что он испытал от нее даже некоторое облегчение. С готовым клавиром он вернулся в

232

Россию. Он мог жить во Флоренции или в любом другом месте — он на этот раз не заметил Италии: не оказалось ни сил, ни времени для воспоминаний, для того, чтобы расчувствоваться над собственным прошлым.

В Петербурге — нарядная, торжественная постановка, в Киеве — со вкусом сработанный спектакль; и тут и там — прекрасные голоса, полные сборы; и тут и там подношения; критика называет «Пиковую даму» чем-то «пышным, страстным, не совсем нравственным»; ни минуты свободной; мелькание дней и ночей, грусть; новые заказы — на оперу, на балет. Трактирный жирный воздух Москвы, где он поссорился с Сафоновым из-за Брандукова и вышел из директоров консерватории; деловой, необходимый ему и нелюбимый им воздух Петербурга; воздух Киева и Тифлиса, где вой, визг, рев поднимаются при каждом его появлении в концертном зале, в театре. Ни на что не хватает времени — пятьдесят лет подошли и сжали в тисках усталое от страстей, музыки и славы (так скоро!) сердце. Хотелось писать, хотелось мечтать, хотелось многого... Надо было куда-то ехать, соглашаться на что-то, бросать дом, — надо было ехать в Америку: оттуда предлагались деньги, огромные, фантастические. Он никогда до того не видел таких денег.

«Оперы следует писать (впрочем, точно так же, как все остальное), — писал он Танееву по поводу успехов «Пиковой дамы», — так, как Бог на душу положит. Я всегда стремился как можно правдивее и искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте... Итак, выбравши сюжет и принявшись за сочинение оперы, я давал полную волю своему чувству, не прибегая ни к рецепту Вагнера, ни к стремлению быть оригинальным. При этом я нисколько не препятствовал веяниям

духа времени влиять на меня. Я сознаю, что, не будь Вагнера, я бы писал иначе; допускаю, что даже и *кучкизм* сказывается в моих

233

оперных писаниях, вероятно, и итальянская музыка, которую я страстно любил в детстве, и Глинка, которого я обожал в юности, — сильно действовали на меня, не говоря уже про Моцарта. Но я никогда не призывал ни того, ни другого из этих кумиров, а предоставлял им распоряжаться моим музыкальным нутром, как им угодно»...

Но к «Пиковой даме», как и ко всему, что он писал, он начал остывать очень скоро, спустя полгода после ее постановки. Им был написан секстет — и, как бывало всегда, — последняя вещь казалась лучшей, а в прежней виделись недостатки, промахи, она теряла для него свое благоухание. В ближайшем будущем предстояла работа, которая опять требовала покоя, одиночества, — «Щелкунчик» и «Иоланта» были вместе заказаны и обдумывались вместе, но он отложил их осуществление на год. Он уезжал в Америку.

В этой удивительной стране все было по-особенному. Может быть, так, когда-нибудь, будет в мире будущего? Европе — бедной родственнице — может быть, тоже, лет через двадцать, придется усвоить американский способ жизни, удивительный способ, необыкновенный способ?.. Железная дорога проходит прямо по городу, лифты в домах летают вверх и вниз, дома строят до самого неба... Но уже с самого отхода атлантического гиганта «La Bretagne» начинаются чудеса.

Было время (в 80-х годах), пароходы в Америку ходили дней десять, не меньше. Сейчас, в 1891 году, между Гавром и Нью-Йорком путешествие совершается в шесть суток и четырнадцать часов; плавающий дворец — с театром, бассейном, библиотекой — рассчитан на много сотен пассажиров. В первом классе женщины к обеду переодеваются в бальные платья. В третьем, где едут эмигранты всякого рода и целый выводок девиц легкого поведения, законтрактованных специальным агентом, еще веселее. Там

234

цыган показывает публике дрессированную обезьяну, там пляшут под гармонь, поют под гитару... Чайковский не раз спускается на палубу третьего класса, от нечего делать знакомится с девицами, с коммивояжерами, угощает всех, жалуется на тоску, на страхи: он боится океана, морской болезни (хоть признаков и нет), он боится, что пароход непременно утонет. «М-да, в вашем возрасте!..» — говорят ему с соболезнованием, и он бежит к себе в каюту, смотрится в зеркало: неужели он производит впечатление старика?

"Tschaikovsky is a tall, gray, well built interesting man, well on the sixty. He seems a trifle embarrassed and reponds to the applause by a succession of brusque and jerky bows"* — пишут в «Геральде» на следующий день после его приезда, и печатают его фотографии, снятые на дебаркадере, в вестибюле отеля, при выходе на улицу. Ему то и дело докладывают о приходе журналистов. Они приходят целыми ватагами:

— Как нравится вашей супруге Нью-Йорк? — спрашивают они, вбегая.

Уходя, они просят его автографа.

Он не может успокоиться: в его номере паровое отопление, ванна, уборная, горячая и холодная вода. Свечей нет, всюду электричество. Если ему что-нибудь надо — не нужно звонить, — только снять трубку домашнего телефона и приказать, а когда к нему кто-нибудь приходит, ему звонят и спрашивают, желает ли он принять? Прямо по проволоке говорят! Удивительно это. На улице почти нет извозчиков — все ездят по железной дороге, несущейся с грохотом между домами. На улице много негров, на каждого он оборачивается. А дома! В десять, двенадцать, семнадцать этажей. Никогда бы не согласился

* Чайковский высокий, седой, хорошо сложенный интересный мужчина, на вид ему далеко за ш е с т ь д е с я т . Он выглядит немного смущенным и отвечает на аплодисменты непрерывными резкими и порывистыми поклонами (*англ.*).

235

жить на семнадцатом этаже. Говорят, в Чикаго есть дома в двадцать четыре этажа.

Но и люди здесь удивительные тоже: веселые, простые, гостеприимные; все, с кем он встречается здесь, его знают, любят, играют его музыку. Знакомые дамы каждое утро присылают ему цветы, духи, портсигары; он все время получает подарки: серебряную маленькую статую Свободы, письменный прибор... Никаких официальных банкетов — оживленные, приятные

обеда. Никаких речей — одни тосты. Перед каждым прибором — меню с отрывком из его произведений, перед дамскими приборами — миниатюрный его портрет в изящной рамке.

Смесь роскоши, простоты и удобства до конца использованной жизни, стремление каждого сделать соседу приятное — поразили Чайковского с самого начала его пребывания в Нью-Йорке. Он был приглашен Карнеги дирижировать несколькими концертами; оркестр оказался превосходным; зал, рассчитанный на две тысячи слушателей, наполнился до отказа. И все считали, что все это совершенно естественно.

Он в первый раз в жизни увидел бары, увешанные ценными гобеленами, посетил серьезный клуб, где зимой катаются на коньках, а летом купаются. Он ел соус из маленьких черепах, мороженое, которое вывалилось из живых роз, пил напиток из нескольких ликеров и виски — перемешанных и искусно взбитых. Он видел шедших по улицам людей, кричавших что-то о восьмичасовом рабочем дне (он не понял, кто это и чего требуют). Все было удивительно: и золотые зубы дам, и мужчины, непременно, без назойливости, с детской готовностью угодить, ходившие покупать ему нижнее белье, и сам Карнеги, при своих сорока миллионах (и необыкновенном сходстве с Островским) живший почти так же удобно и просто, как все, восторженный его почитатель, обнимавший его (но не целовавший — в Америке муж-

236

чины не целуются) и кричавший, что он «некоронованный музыкальный король».

В Вашингтоне ему был устроен прием в русском посольстве, в Филадельфии он в два дня сумел сдружиться с тамошними музыкантами. Среди всех этих торжеств у него внезапно выпал передний зуб, что испортило ему настроение на неделю: он слегка начал шамкать. В Нью-Йорк он возвратился почти как домой... А в поезде опять были и ванна, и цирюльня, и каждому без счета раздавались по первому требованию полотенца, щетки, мыла...

И каждый вечер, оставаясь один, он плакал. Он плакал о том, какие есть хорошие люди на свете, и как его любят на другом конце земли; и как далеко он от дома, и как он одинок; и как он устал. Он плакал о Бобе, который был так далеко и который так редко писал ему.

«Больше всего я думал, конечно, о тебе, — писал Чайковский, — и так жаждал увидеть тебя, услышать твой голос, и это казалось мне таким невероятным счастьем, что кажется отдал бы десять лет жизни (а я жизнь, как тебе известно, очень ценю), чтобы хоть на секунду ты появился. Боб! Я обожаю тебя. Помнишь, я говорил тебе, что не столько наслаждаюсь твоим лицемерием, сколько страдаю, когда лишаюсь тебя? Но на чужбине, имея в виду бесконечное количество дней без тебя, чувствую особенно всю значительность моей любви к тебе...»

Иногда ему казалось, что путешествует какой-то «не-я». Не может быть, чтобы это *он* выдерживал эти репетиции, эти знакомства, бурю в Атлантическом океане на обратном пути, чтобы все это почти нравилось ему. «Я» где-то томилось и дрожало, «я» плакало. «Я» среди этой радушной и расположенной к нему толпы было совершенно одно. Одно на чужбине, одно — на родине, одно на всем свете. Кому был он нужен? И даже Надежды Филаретовны больше не было у него.

237

XIX

Измена ей, измена «лучшему другу», началась издавна, и к 1888 году, когда он совершил свое по-настоящему победное путешествие по Европе, он впервые почувствовал неизбежность конца этой дружбы. Надежда Филаретовна продолжала искать в нем то, что открылось ей в начале их переписки. Он же не принадлежал уже прежним творческим мыслям, они отошли и питали его только в те часы, когда он писал, остальное же время предоставляя ему вести свою азартную, хлопотливую, удачливую и изнурительную *политику славы*. Он стал замечать, что между тем, что она о нем думает, и тем, что он есть на самом деле, разверзается пропасть, которую у него нет ни сил, ни времени засыпать. Она думала, что он волшебник, живущий в музыке, — он стал на музыку смотреть отчасти, как на средство добиться всемирности; она думала, что он слишком занят творчеством и потому редко пишет, — он писал каждый день два десятка писем, и со многими ему было *нужнее* переписываться, чем с ней; она думала, что он добр и равнодушен к деньгам, — он становился все требовательнее, и даже то, что он продолжал поддерживать с ней переписку, сам иногда в глубине души истолковывал, как заинтересованность свою в ее денежной помощи.

Она думала, что он «дух», — он очень заботился о своем теле. У него развивался катар, и вопросы аппетита, желудка, бессонницы занимали его чрезвычайно. Она думала, что он, по душевной мягкости своей, любит детей, — он бегал за маленькими майдановскими школьниками, боясь быть замеченным взрослыми. Она думала, что рюмка коньяку лечит его от бессонницы, — он иногда пьянствовал до беспамятства. Она думала, что он в жизни своей не нашел той женщины, которую мог бы любить, — для него всякая женщина была Антониной Ивановной.

238

В первые годы она, своими письмами, делала его таким, каким любила. Он, действительно, становился *ее*. Но седина, болезни, бессменная тоска, успех и вся вообще сумятица и трудность даже самой «блаженной» из блаженных жизни не дали ему удержаться на той высоте, на которую она поднимала его. И тут между ними наступил разрыв.

Он постепенно привыкал к этому и не увидел или почти не увидел его. Но настал день, когда и Надежда Филаретовна внезапно его осознала. Надежда Филаретовна была не из тех, которые примиряются, уступают, прощают, подлаживаются, закрывают глаза, — она оборвала сразу и навеки.

Ее многомиллионное состояние, сделанное ею и покойным мужем, собственной энергией, умом и трудом, в это время было уже не тем, что двенадцать лет тому назад. Чайковский же зарабатывал, и зарабатывал хорошо, собирался купить дом. При ее прямоте и правдивости ей не нужен был повод, чтобы разорвать, но пошатнувшиеся ее дела оказались поводом. Она написала Чайковскому, что больше помогать ему не будет.

«Не забывайте и вспоминайте иногда»...

Но разве нельзя было продолжать писать друг другу хоть изредка? Разве денежная помощь ее была единственным основанием их переписки? — ничего не понимая, думал он.

Что-то, казалось, переполнило внезапно чашу ее знания о нем. Наступил день, когда она, тринадцать лет его знавшая, узнала о нем последнюю правду — от собственного брата — и вычеркнула Чайковского из своего сердца. Потеря шести тысяч в год сейчас уже не была для него катастрофой, — это была только крупная неприятность. Он ответил на ее письмо немного высокопарно, но хорошо, — и на это письмо уже не получил ответа. Это его мучило. Он написал еще раз. Молчание. Он прождал полгода, пытаясь через сына ее, женатого на его племяннице,

239

узнать, неужели она так-таки оставила его? Он не узнал ничего. Вернувшись из Америки, в июле 1891 года, он обратился к Пахульскому с длинным письмом, он умолял его, чтобы тот сделал так, чтобы она вновь обернулась в его сторону. Она не обернулась.

Она была старше его на девять лет, но почему-то, когда он думал о своей смерти, ему казалось, что она переживает его и будет где-то близко от него. На ее руках умер Венявский, которому она скрасила последние дни. Теперь он остался один и в смерти и в жизни. «Блаженство» кончилось. Осталась обида.

С ею подаренными эмалевыми часами он не расставался.

Это, может быть, был фетиш. Когда приходилось отдавать их в чистку, он бывал беспокоен. После приезда из Америки он опять жил в Майданове, на даче, которую снимал. Было лето. Ответа от Пахульского все не было. И вот однажды под вечер, когда окна в доме были раскрыты (а он носил блузу, и не было карманов), часы украли с его письменного стола.

Он заметил это, когда, ложась спать, собрался их завести. Немедленно была послана телеграмма в Москву, в сыскную полицию. На следующий день приехал сыщик. Чайковский не вышел к нему, с сыщиком говорил Алеша. Чайковский лежал у себя в комнате при спущенных шторах — от слез и бессилия он переходил внезапно к такой страшной злобе, что лучше было к нему не входить.

Неужели, действительно, так-таки все было кончено, и даже слабый вещественный след единственной в мире дружбы не уцелел? Алеша ночью пришел его успокоить: сыщик обещал перевернуть вверх дном весь уезд.

Только в сентябре удалось найти вора. Это был молоденький паренек, удивительно милый, добродушный и глупый. Он сознался во всем, оговорил двух сообщников, которых в день кражи в Майда-

240

нове вовсе и не было. Потом повалился Чайковскому в ноги и сказал, что взвел на себя напраслину; Чайковский не знал, что и думать, просил сказать, где часы, обещал вознаграждение. Парень оказался истериком, в участке он подробно рассказал, как влез в окно, как стянул часы, перочинный ножик и колоду карт. А затем опять начал путать, просил отпустить его, уверял, что часов не видел.

Майданово вдруг опротивело Петру Ильичу. Он решил бросить его, купить, наконец, дом в Клину.

— Мне здесь с каждым днем тошней и тошней.

Пора наступала подумать о прочном, старческом прибежище.

«Про черный день» откладывать он не умел. Опять и даже больше, нежели раньше, он делал долги. И снова дом был не куплен, а снят, большой двухэтажный дом, стоявший на этот раз не в парке, не среди дач, а на окраине Клина. Вокруг были огороды и пустыри; зимой сквозь голые деревья сквозила плоская деревенская даль. Внизу жил Алексей с семейством, наверху — Петр Ильич. С детства любимый Людовик XVII висел на стене среди других гравюр и фотографий; фотографии он любил, и по тогдашнему обычаю развешивал их тесно одну подле другой. И Надежда Филаретовна была здесь, в высокой, неуклюжей своей прическе, и все друзья — мертвые и живые. На столе лежал теперь Спиноза с карандашными пометками, а на фортепиано — любимые партитуры Моцарта, когда-то подаренные Юргенсоном. И опять одна комната была отведена для Боба. Весной Боб, его два кузена, неразлучный новый его друг — Рудя Буксгевден, Володя Направник приезжали сюда «зубрить» перед экзаменами. Иногда Петр Ильич возил их — «четвертую свою сюиту» — в Москву. Каждый выезд стоил ему не меньше пятисот рублей. У него был обычай — всюду платить за всех: это доставляло ему удовольствие, и не только за

241

Боба, за Колю Конради, за Модеста (который всю жизнь жил наполовину на его счет), за Лароша — но и за людей во много раз богаче его. Он мало что привозил с собой из заработанного в путешествиях.

За славой, а главное — за деньгами приходилось ездить и по России, и по загранице. «Пиковая дама» — единственная — делала его временами богатым человеком. По России он иногда ездил с удовольствием: Тифлис и Киев заменили для него Москву, где со времен Сафонова все стало ему чужим, из Москвы он вырос, как вырастают из старого платья. Зато к Петербургу вернулся душой — Петербург был уже не тем, что прежде: Направник и вся дирекция выказывали ему всяческое уважение, он был принят там, как первый в России композитор; там жил Модест, там жили музыкальные друзья — не очень близкие, как Корсаков, и очень дорогие сердцу — как Глазунов. Там, наконец, в Училище правоведения учился Боб. И Петербург его любил теперь... Впрочем, где его не любили? Он становился самым любимым всюду, куда ни приезжал. И когда он вспоминал прием в Одессе — самый страстный, самый безудержный восторг, какое-то сплошное стенание вокруг него (его сажали в кресло и несли на руках, ему целовали руки, в оркестре был сплошной туш, рыдая, ему читали приветствия в прозе и стихах, тут же сочиненные), когда он вспоминал Одессу, становилось несомненным, что он достиг всего, чего можно было достичь.

А чужие края становились ему все более несносны. Каждый раз, когда в Эйдкунене из скверного русского вагона он пересаживался в превосходный немецкий, он давал себе клятву «в последний раз» уезжать из России; он ходил в уборную плакать, чтобы не видели пассажиры, над тем, что ему суждено мыкаться по свету до смерти? Зачем? Он не мог ответить на это. Но в Гамбурге ставили «Онеги-

242

на», в Праге «Пиковую даму», и надо было ехать. Он был известен Европе как симфонист, теперь он становился ей знаком как оперный композитор.

В этих поездках жизнь возвращала ему забытых людей — прежних консерваторских учеников своих он встречал профессорами консерваторий. С Дезире Падилла он виделся на светских раутах. Все эти встречи были похожи на прощания — словно он памятью возвращался к прошлому, чтобы навеки с ним расстаться. Жизнь вернула ему впадшую в детство воткинскую «сестрицу», которая теперь проживала в Каменке и думала, что Петруше все еще шесть лет, и однажды ему пришло письмо от Фанни: Фанни, мадемуазель Фанни, после сорокапятилетней разлуки напомнила ему о себе, прослышав о его славе.

Это было почти то же самое, как если бы его покойная мать вернулась к нему. Фанни просила о свидании, вспоминала воткинские годы, спрашивала про всех родных. Она помнила все, сохраняла его детские тетрадки. Он несколько дней не мог прийти в себя: как, неужели она жива, неужели он увидит ее, и оживут лучшие годы его жизни: брат Коленька, неизменный товарищ игр; уральские черные ночи страшных сказок; материнская рука на его вихрастом затылке, санный путь по берегу Камы. Детство... Он обещал ей в первую же поездку за границу навестить ее, но только через полгода, проездом из Базеля в Париж, заехал в Монбелиар.

Маленький городок со старой церковью и главной улицей, обсаженной деревьями, показался ему похожим на русский заштатный городок. В тихой улице ему указали на мещанского вида домик. Когда он вошел, к нему навстречу поднялась толстая старушка, лет семидесяти, с красным лицом. Он узнал ее сразу. «Пьер!» — сказала она тихо и заплакала. Заплакал и он. Она усадила его в кресло, распро-

243

сила про всех, даже про тех, кого он сам давным-давно забыл. Она вспомнила его мать, вместе с его детскими дневниками вынула несколько старых писем к ней Александры Андреевны. Он смотрел на нее, на ее, без единого седого волоса, маленькую, аккуратную прическу, на ее живые движения. И из жизни своей, из этой томительной, страшной и чем-то неполной симфонии, выводил памятью волнительную, пронзительную тему, начинавшуюся тогда, когда он был «стеклянным мальчиком», когда впервые для него зазвучала ария Церлины из моцартова «Дон Жуана», сыгранная старой оркестриной, в которой сипели и хрипели валы; когда заезжий польский офицер играл ему мазурки Шопена — еще до болезни спинного хребта, полученной по наследству от дедушки Ассиера, до туманной и роковой встречи, на заре юности, с таинственным, обольстительным проходивцем Пиччиоли.

Он просидел у нее весь день и назавтра опять пришел с утра. Обедать она отсылала его в гостиницу: она до сих пор жила уроками и достойным образом угостить его не могла. Он предложил ей денег, но она отказалась. В городе не было человека, который бы не был обязан ей грамотой.

Жизнь возвращала ему друга юности его — Аннет. Правда, ее он никогда не терял из виду, но в последнее время он все чаще писал ей — преимущественно шуточно; сквозь эту шутовщину она угадывала все то, что он хотел сказать ей всерьез и не мог, и он был благодарен ей за ее понимание. Жизнь, отняв у него «лучшего друга», может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему, при всей их прелести, слишком ничтожными. Надежды Филаретовны он все равно забыть не мог.

И опять, как бывало: «работать, работать», звал он себя к настоящему и единственному делу. «Как сапожник шьет сапоги», — так он *делал* «Щелкунчика» и так писал «Иоланту». Для «Щелкунчика» Петипа

244

разметил ему такты — оставалось только заполнить их:

"Nr. 1. Musique douce. 64 mesures.

Nr. 2. L'arbre s'eclaire. Musique petillante de 8 mes.

Nr. 3. L'entree des enfants. Musique bruyante. 24 mes.

Nr. 4. Le moment d'etonnement et d'admiration. Un tremolo de quelques mes.

Nr. 5. Marche de 64 mesures.

Nr. 6. Entree des incroyables. 16 m. rococo.

Nr. 7. Galop.

Nr. 8. L'entree de Drosselmeyer. Musique un peu effrayante et en meme temps comique. Un mouvement large de 16 a 24 mes."*.

Он прилежно заполнял их музыкой. Когда он кончил оба заказа, он заставил себя сделать облегченное переложение для фортепиано «Щелкунчика», исправить клавираусцуг «Иоланты», а заодно облегчить и другие переложения своих сочинений: их делали когда-то Танеев, Клиндворт, но все они были слишком трудны для *Боба*, и, заваленный корректурами, тупея над правкой их, он просидел несколько месяцев в Клину.

Во сне ему снились нотные знаки, роковым образом делавшие не то, что им следует делать. Так часто бывало и раньше: когда он писал «Спящую красавицу», он видел себя каждую ночь танцором. Вставал он по-прежнему рано, и в жизни, наедине с самим собой, у него появилась какая-то спешка. Он всегда хо-

- * «№ 1. Тихая нежная музыка. 64 такта.
 - № 2. Дерево освещается огнями. Искрящаяся музыка 8 тактов.
 - № 3. Выход детей. Шумная музыка. 24 такта.
 - № 4. Мгновение изумления и восхищения. Тремоло в несколько тактов.
 - № 5. Марш в 64 такта.
 - № 6. Выход в невероятных костюмах. 16 тактов рококо.
 - № 7. Галоп.
 - № 8. Выход Дроссельмайера. Немного жуткая и одновременно смешная музыка. Медленное движение от 16 до 24 тактов.» *(франц.)*
- 245

дил скоро, ел скоро, темпы, дирижируя, брал скорее, чем следовало. Сейчас он спешил с работой, доводя себя до головных болей, до дрожи — все равно, была ли это инструментовка «Иоланты» или новая симфония, которую он задумал писать в зиму 1891-1892 гг.

Он писал ее без особого увлечения, торопливо и сумбурно, и, уже доканчивая наброски, увидел, что ничего нового, сильного, глубокого в ней не сказал. Он уничтожил ее, не проиграв никому: он помнил неудачу с балладой для оркестра, написанной год назад на пушкинского «Воеводу».

«Воеводой» он дирижировал в первый раз в концерте Зилоти и, едва отдирижировав, в артистической, в бешенстве, красный, задыхающийся, изорвал ее партитуру, сказав, что такую дрянь нельзя играть. Как успокаивали, как уговаривали его друзья!.. Во второй раз он уже не хотел повторения того же самого. И от симфонии не осталось следа.

Но месяцы шли. В ежедневной работе, в разъездах одно желание неотступно преследовало его: желание написать, наконец, что-то такое, после чего смерть, «курносая гадина», была бы ему не страшна. У себя в Клину, в ежедневной, непрекращающейся тоске, и за границей, когда необъяснимое отчаяние охватывало его, он не переставал об этом думать. Симфония. Новая симфония. Шестая. О том, для чего он жил на свете. О том, что он когда-нибудь умрет — и, вероятно, скоро. О его любви, о которой он не смеет сказать вслух.

При мысли о «курносой гадине» он иногда перечитывал свое завещание, составленное несколько лет тому назад. Он решил переделать его, придать ему требуемую законом форму. Все права свои — авторские, как русского композитора, — он оставлял ему, Бобу Давыдову, — он этим как бы дарил ему все, сотворенное когда-либо, все, самое дорогое. Алеше он оставлял обстановку Клинского дома; «капиталы», если таковые окажутся, — Жоржику, незаконному

246

Таниному сыну, усыновленному Николаем Ильичом; ему полагалась, кроме того, пенсия в сто рублей в месяц. Младшему Бобиному брату, Уке, он просил отдать эмалевые часы, если они когда-нибудь найдутся.

«Клянусь! В последний раз!» — говорил он себе, уезжая опять за границу, на этот раз в Кембридж, где должен был получить лично звание доктора *honoris causa*.

Случилось именно так, как он предсказывал: он внешне стал походить на ученого с несколько сановными манерами, и это ему шло. В России такая европейская внешность придавала ему благородство, в Париже — вместе с его стильной французской речью это составляло одно целое. В Англии он прекрасно разыграл с остальными кандидатами — Сен-Сансом, Бойто — всю комедию: шествовал в подобающем костюме, кланялся, красовался, благодарил. Вся церемония не слишком измучила его: что была для него подобная церемония, когда он только и делал в последние годы, что шествовал, красовался и благодарил!

Но то, что происходило внутри него, напоминало по силе, по безвыходности 1877-й год, только тогда он мог кинуться в какие-то решения, делать какие-то шаги, о которых до последнего мгновения никто не знал, от которых он мог ожидать спасения. Сейчас он был на виду. Каждый выход его из дому бывал замечен. Каждый человек, которого он приближал к себе, становился любопытен окружающим. Внутренняя буря, свирепствовавшая в нем и причинявшая ему такую боль, — было единственное, о чем еще не догадывались люди, — всякое ее изживание повело бы к ее раскрытию.

Но с каким искусством, с каким самообладанием скрывал он ее!

Всю жизнь он умел нравиться и теперь не только «четвертая сюита» сопровождала его повсюду в Пе-

тербурге, приезжала за ним в Москву. Молодые московские музыканты взирали на него с восторгом и уважением: он не только умел говорить с ними, учить их, ободрять, он помогал им, когда бывало нужно. Юлия Конюса послал по своим следам в Америку, оперу молодого и особенно им любимого Рахманинова, «Алеко», благодаря ему приняли к постановке в Москве и в Киеве. Танеев учил их, он ими руководил. Как только они подрастали, они становились его приятелями: с Глазуновым и Лядовым он уже несколько лет был на «ты».

Но они были и первыми его судьями, первыми — после Боба. И в те дни, когда в феврале 1893 года он спешно, карандашом, на некрашеном столе, в спальне, набросал первые такты новой своей вещи, он написал Бобу:

«Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонию, частью сочиненную и частью инструментованную, осенью уничтожил. И прекрасно сделал — ибо в ней мало хорошего, — пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, которая останется для всех загадкой, — пусть догадываются, а симфония так и будет называться «Программная симфония» (№ 6). Программа эта самая, что ни на есть, проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня была готова совершенно первая часть и в голове уже ясно обрисовались остальные. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое аллегро, а наоборот, самое тягучее адажио. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и

248

что работать еще можно. Конечно, я, может быть, ошибаюсь, но кажется, что нет. Пожалуйста, кроме Модеста, никому об этом не говори».

В эту весну, на короткое время, к нему вернулась лихорадка творчества, — после первой части он тут же на нотном листе написал: «Слава Тебе Господи! Начал в четверг 4 февраля. Кончил во вторник 9 февраля».

Он набрасывал темы вчерне, он уже слышал их инструментовку. Виолончели и альты в первой части — как безудержное сердцебиение, вздохи фаготов, разрывающее грудь скерцо и вместо аллегро финала — дрожание смерти в адажио. Как когда-то, он писал плача, и любил каждый аккорд; как когда-то, был в бреду вдохновения, и только летом, во время инструментовки написанных четырех частей он отрезвел и увидел трудности.

Теперь это была уже работа, с потом, усталостью, со всем тем, что следовало за ней всегда. И уже он видел себя дирижирующим симфонией в Петербурге на концерте 16 октября, и в нетерпении вызывал к себе младшего Конюса для клавирауцуга...

Осенью он на несколько дней приехал в Москву: в Малом театре шла в первый раз пьеса Модеста «Предрассудки». Успеха не было, но «вспрыснуть» премьеру, как обычно, отправились в ресторан, — в Большой Московский, где в гостинице на этот раз остановился Чайковский. Фигнер, несравненный Германн «Пиковой дамы», спрашивал его:

— Петр Ильич, где вы помещаете свои капиталы?

— В настоящее время — в Большой Московской, — отвечал ему Чайковский.

На следующий день у Танеева в гостях Петр Ильич играл в первый раз свою Шестую симфонию.

Все были в сборе: Рахманинов слушал, опустив голову на руку, не отрывая глаз от лица Чайковского. Он любил смотреть на него, когда тот его не видел. Однажды, в партере Большого театра, он увидел его

249

(когда никто не смотрел на него) иным, *без маски*, и с тех пор в вежливом и спокойном лице все старался найти *то* выражение: тоски, усталости, безнадежности... Он смотрел на руки его — Чайковский давно уже запустил технику фортепиано, он играл сейчас хуже, чем тридцать лет тому назад. От волнения он сейчас играл плохо. После его игры было долгое молчание: Сергей Иванович предложил выйти в коридор — покурить в трубу, — у него в комнатах курить было нельзя. В коридоре же он показал гостям изобретенное им только что перпетуум-мобиле.

Тут же были Модест и Боб, приехавшие в Москву на премьеру «Предрассудков». Боб был в штатском — он очень не любил правоведский мундир и в это лето окончательно его снял. Они тоже молчали. Потом подали чай в столовой, и Чайковский попросил Рахманинова сыграть свой «Утес». Петр Ильич много и жарко хвалил его.

И все-таки, несмотря на их молчание, он знал, что эта вещь — лучшее, что он написал. Не потому, что это была сейчас последняя его вещь, не потому, что много лет он хотел ответить самому себе на мучительные вопросы и теперь ответил. Не потому, что боль и бред, какие в нем были, ушли в эту музыку, и он теперь был опустошенным, как будто душу вынули из него. Но потому, что эта музыка был он сам, больше чем когда-либо, плоть от плоти его и кровь от его крови. Это были подлинные *его* сердцебиения, *его* вздохи. Эта музыка была реальностью, и он сам перед ней был миражем.

Симфония посвящалась Владимиру Львовичу Давыдову.

XX

Он выехал в Петербург 9 октября, рассеянный, полубольной, — и сода, как видно, больше не помогала его катару. Накануне, в гостях у Ипполитова-Ивано-

250

ва, он забыл на подзеркальнике перчатки и досадовал на себя — купил подле вокзала нитяные. Антонина Ивановна напомнила ему нынче утром о себе: не усыновит ли он третьего ее ребенка? (Два других уже были отданы в Воспитательный дом.) Он, кривясь от отвращения, велел дать ей денег. Это, видно, кончится только с жизнью — эти приходы ее, эти просьбы!

Никто не провожал его. Он этого не любил. Кашкин, старый друг, был у него в гостинице, при отъезде. Они курили и вспоминали старину: как много людей ушло за последние годы из их жизни! Синодик умерших друзей был так длинен, что Чайковский часто не мог вспомнить всех, кого любил и кого больше нет: от Каменки и семьи сестры остались разрозненные остатки, самой ее уже больше не было. Не было Володи Шиловского и ленивца Кондратьева, не было шута Бочечкарова, Котека, скрипача, в 1877 году сведшего его с Надеждой Филаретовной. Умерли Альбрехт и Губерт — «честные работники на ниве» — и — когда-то блестящий, гениальный мальчик — Леля Апухтин. Они перебрали многих. От музыкантов и близких перешли к известным московским людям. Вспомнили покойного Третьякова, Кашкин назвал Надежду Филаретовну:

— Умирает? — вскричал Петр Ильич. — Не может быть!

Нет, она не умирала, но говорили, что она больна нервным расстройством, не узнает, не понимает... Старший сын ее, умственно больной от последствий сифилиса, просадил все наследство фон Мекков на женщин и игру, и теперь они разорены, как говорят, и «старуха» живет в бедности...

Чайковский хмуро смотрел в сторону.

Проводов он не любил, но встречи на вокзале! Модест, Боб, мальчики окружают его. На этот раз он больше не остановится ни в «Дагмаре», ни в «Франции» — взята квартира. И в квартире есть комната для него.

251

Квартира, которую Модест и Боб только что сняли и в которой едва закончен ремонт, — на Малой Морской. Этим летом Коля Конради женился, и они пригласили жить с ними молоденького князя Аргутинского — одного из «четвертой сюиты». Аргутинский уже перевез свои вещи, но застрял в гостинице с приезжим с Кавказа родственником. Лакей Назар и нянюшка Апполинария встречают Петра Ильича. Пахнет свежей краской. Действительно, они устроили ему настоящий кабинет, он будет здесь, как у себя дома.

Репетиции симфонии начались на следующий день и продолжались всю неделю — вплоть до субботы, 16-го, когда состоялся концерт. Симфония ни на музыкантов, ни на слушателей не произвела того впечатления, которого ждал Чайковский. Ни до тех, ни до других она не дошла. Ей хлопали без восторга, и, едучи после концерта на извозчике ужинать с Глазуновым, Чайковский молчал, и Глазунов молчал тоже.

В недоумении на следующее утро за чаем Чайковский раскрыл партитуру. Симфония *для него* была программной, но никакой к ней программы давать он не хотел. «Трагическая», — сказал Модест, читая его мысли. И через несколько минут, уже из другой комнаты: «Патетическая».

— Bravo! — отозвался Петр Ильич. Он решил принять это название.

Он был огорчен, он был слегка озадачен той осторожностью, с которой принята была его новая вещь. В гостях у Римского-Корсакова он слушал похвалы, обращенные к нему, но казалось: людям, даже самым опытным, самым искушенным, мало было услышать симфонию один раз, они ждут второго и третьего раза, чтобы говорить о ней. Или это дирижерство его виновато? Твердых суждений он почти не слышал — судьи его были в раздумье.

Но, несмотря на это, Петербург в этот раз окончательно стал ему мил: Боб был здесь хозяином. Право-

252

ведение он кончил, еще не выбрал, что ему делать дальше, был лишь причислен, как все, куда-то, и мечтал о военной карьере. Он бывал всюду, всюду его любили, приглашений на каждый день было без счету, вставал он поздно, долго плескался в ванне (Петру Ильичу ужасно нравилось, что Боб любит плескаться в ванне), сорил деньгами (своих у него было немного, но дядя Петя давал без счету), играл на рояле, читал, с обольстительной улыбкой судил обо всем, растягивая слова... И с утра приходили такие же, как он, молодые, праздные, — среди которых он, конечно, главенствовал, — лишь в этом году снявшие школьные мундиры.

Вечером — в балет, в оперу, в Александрийский. Одна, а то и две логи. Потом — к Палкину, к Лейнеру или в загородный ресторан, к цыганам. Пристрастие его молодости — Островский — опять притягивает Чайковского. Он ведет всех на «Горячее сердце». По пути из театра в ресторан, Боб упрекает Рудю в слабости к женскому полу.

У Лейнера уже ждут его постоянные собутыльники, начинается ужин. Но за последнее время Петр Ильич стал воздержаннее и в еде, и в питье — в белое вино он подливает минеральную воду и на ночь отказывается от мяса.

На следующее утро он жалуется Модесту на желудок. Он ел у Лейнера макароны, и, значит, беды никакой нет. Но надо принять касторку, к касторке он прибегает очень часто. Он обвязывает живот куском фланели и уходит к Направнику, но возвращается с полпути: лучше сидеть дома, его клонит ко сну.

Однако мальчики и Модя садятся за завтрак. Он не прочь поесть, но благоразумно воздерживается и грустный сидит за столом, и ему приятно, что его жалеют. Вместо касторки он принял Гунияди — он виновато признается в этом и отпивает несколько глотков воды из графина. Его хватают за руку: вода сырая!

253

Он рассердился на то, что ему об этом сказали: если бы он этого не знал, его бы не затошнило. До вечера он лежал, не позволял звать врача, страдая, как, впрочем, страдал часто. Недаром он ездил в прошлом году в Виши.

— Помнишь, Боб, как мы ездили с тобой в Виши, в поганое Виши, в противное Виши?

Когда он просыпается, доктор Бертенсон стоит над ним. Он требует показать язык. Бертенсон! Говорят, на руках у него умер Мусоргский?

Но больше он уже не может ни думать, ни говорить. Зачем? Он превращается в животное: рвота и понос в течение нескольких часов обессиливают его совершенно. Он громко кричит при спазмах. Неужели — уже? Курносая гадина! Вы? «Это, кажется, смерть. Прощай, Модя!»

Ни синева, ни судорог, но доктор угадывает холеру. Судороги начинаются к ночи; лицо, руки, ноги начинают синеть. Неужели уже? Так внезапно? Так скоро?.. Его растирают.

— Не холера это? — спрашивает он в полубреду, открывает глаза и видит всех: Модеста, Назара, даже Боба — в закрытых белых фартуках. Он сперва не узнает их: больница? Где он? С кем? Нет, это они — близкие, дорогие — оделись так по приказу Бертенсона.

— Холера! — отвечает он сам себе. — Мамаша ведь тоже... — он хочет сказать, что сорок лет назад, однажды, вот так, совсем недалеко отсюда, на другом берегу Невы, кончалась его мать. Но его сводят конвульсии. Минутами кажется, что он умирает. Клизмы из танина, массаж приводят его в себя.

Он стыдился одного Боба и среди криков, рвоты, судорог то и дело умолял его отойти:

— Я боюсь, что ты потеряешь ко мне всякое уважение после всех этих пакостей, — тихо сказал он, ослабев вконец.

Утром на него нашло успокоение и страшная,

254

безысходная тоска. Слезы бежали по его лицу, на подушку, измученные глаза смотрели перед собой. Не было воздуха, болело сердце. Хотелось стонать, и он стонал: «А-а-а», протяжно, долго. Хотелось пить, ему подносили питье, но это было *не то*. Питье представлялось в воображении чем-то спасительным, каким-то нестерпимым наслаждением — на самом деле это было *не то*. Он умолял о питье и с отвращением от него отворачивался.

Доктора дежурили весь день, и весь день менялось лицо больного: то оно покрывалось черными пятнами, то бледнело и искажалось, то принимало выражение уже смертельного покоя. Припадки повторялись реже, и он временами думал про себя. О чем? К ночи он почти совершенно успокоился. На утро третьего дня доктора обеспокоились бездействием почек.

— Надо бы ванну.

Но ванны боялись все: Александра Андреевна умерла, когда доктора посадили ее в ванну. Об этом напомнил Модесту Николай Ильич, за которым послали еще в первую ночь. Об этом помнил сам больной.

— Я верно умру, как моя мать,— сказал он равнодушно. И ванну отложили до следующего дня.

Мочи не было. Вызванного из Клина Алешу Чайковский узнал не сразу. И в воскресенье ему почти уже не было дела до того, что творится вокруг него. Он сводил с кем-то счеты в бреду, он гневно упрекал, он рыдал, он выговаривал кому-то. Это была Надежда Филаретовна. Он несколько раз в слезах прокричал это имя. Потом он открыл глаза. Боб стоял над ним. Он закрыл их опять, не сказав ни слова.

— Надежда Филаретовна... Надежда Филаретовна... — затихало его бормотание.

В бессознательном состоянии, на простынях его опустили в жестяную ванну, принесенную в ту комнату (в гостиную), где он лежал. После ванны испарина еще более обессилила его, и пульс ослабел настолько, что ему пришлось впрыснуть мускус. Мочи

255

не было, к ночи начался отек легких.

Николай Ильич велел послать за священником. Но исповедаться больному уже не мог. Да и что бы он сказал о себе этому важному, чужому человеку, с дарами в руках? Священник отказался причастить его. Он прочел над ним отходную, но Чайковский не слышал уже ничего, последнее, что еще шевелилось мгновениями в сознании, была жажда — не лимонной воды, не жидкого, холодного чая — чего-то, чего он не мог назвать, но что наверное дало бы ему облегчение. Смертельная жажда, в пустыне невыносимой тоски.

В квартире, где все еще пахло свежей краской и где теперь был такой беспорядок, Модест, Боб, Рудя, три Бобиных кузена, Аргутинский, Алеша, Назар молча помогали фельдшеру и докторам. Кое-кому отказывали, кое-кого пускали. Фигнер долго просидел у постели больного, приходил Володя Направник, присылали от Корсаковых...

Вопросом «пить?» несколько раз его возвращали к жизни, он мычал что-то, шевелил пальцами. Глубокой ночью на 25-е октября глаза его вдруг раскрылись. Он еще раз взглянул на Боба, еще раз на стоявших тут Модеста и Николая. Это была вся его жизнь: детская дружба, зрелая привязанность и старческая, одинокая любовь... Потом глаза его закатились. Неподвижное лицо стало таким, каким его однажды видел Рахманинов, — *без маски*.

1934—1935 гг.

256